

АНАТОЛИЙ КЛЕПОВ

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ВАВИЛОН



Анатолий Клепов

Информационный Вавилон

«Автор»

2026

Клепов А.

Информационный Вавилон / А. Клепов — «Автор», 2026

От автора, чьи шифраторы в 1992 году спасли финансовую систему ЦБ РФ от коллапса и уберегли Россию от разрушения (признание главы ЦБ В. Геращенко), создателя первого в мире криптосмартфона. Все известные книги жанра пишут люди, ничего не знающие о криптографии. Отличие этого романа кардинально: перед вами уникальный триллер от реального криптографа, который оснастил своими шифраторами 64 страны мира. Банковская, медицинская тайна, тайна исповеди? Забудьте. Мы добровольно скормили сетям свои финансы, страхи и диагнозы. Владелец этих баз получит абсолютную власть. «ИНФОРМАЦИОННЫЙ ВАВИЛОН» — смертельная гонка за душу людей на стыке супертехнологий и древних тайн:— Киберреальность: герой создает абсолютный шифратор, бросая вызов жаждущим тотальной власти.— История: тайны Ватикана и шифры Нострадамуса пугающе точно ложатся на наши дни.— Богословие: где грань между оцифрованной личностью и живой душой? Три ключа. Один замок. Цена ошибки — Ваша свобода.

© Клепов А., 2026

© Автор, 2026

Содержание

Пролог	5
Глава 1. Аббатство Фраттоккье	14
Глава 2. Зеркало пишет наоборот	20
Глава 3. Микеланджело	26
Глава 4. Рожденная из числа	31
Глава 5. Сын Пизы	36
Глава 6. Город, который пишет наоборот	40
Конец ознакомительного фрагмента.	47

Анатолий Клепов

Информационный Вавилон

Пролог

Чтобы войти туда, куда не входит почти никто, нужно сначала научиться ждать.

Сергей Клепов понял это еще три месяца назад, когда отправил первое письмо. Настоящее, бумажное, с печатью университета, как того требовали правила. Archivum Apostolicum Vaticanum. Апостольский архив Ватикана. До 2019 года он назывался Секретным — Archivum Secretum, — и, хотя Папа Франциск официально сменил название, чтобы стереть мрачный флер, в кулуарах историки по-прежнему называли его Секретным.

«Секретный» — не потому, что там прячут заговоры, объяснял себе Сергей, готовясь к поездке. Латинское secretum означало скорее «частный», «отдельный» — это был личный архив Понтифика, не доступный посторонним. Внутри скрывалась история длиной в двенадцать веков. Письма Микеланджело, протоколы суда над Галилеем, послание китайской императрицы на желтом шелке, акт об отлучении Лютера. И где-то среди этих десятков километров было то, ради чего он прилетел.

Но сейчас, стоя перед неприметной дверью, Сергей чувствовал, что слово «секретный» подходит идеально. Потому что все здесь было обставлено как ритуал посвящения в тайну, открытую немногим.

Утро выдалось римским, то есть совершенным. Воздух пах кофе, разогретым камнем и чуть-чуть рекой. Сергей пришел к воротам Святой Анны ровно к открытию. Это был единственный путь для тех, кто едет не молиться, а работать.

— Документы, — швейцарский гвардеец у ворот не улыбался.

Многие думают, что гвардейцы в полосатых сине-желто-красных мундирах — бутафория для туристов. Но под средневековым костюмом скрывался профессиональный солдат, прошедший швейцарскую армию и курсы антитеррора. Алебарда — для церемоний. А вот холодный, цепкий взгляд, скользнувший по лицу, рукам, сумке гостя, был настоящим.

Сергей протянул паспорт и carta d'ammissione — пропуск, который выдали после трех месяцев переписки, двух рекомендаций и подробного обоснования причины запроса.

— Клепов Сергей, — прочитал гвардеец, запнувшись на фамилии. Сверился с планшетом, единственной современной вещью в его облике, кивнул и отступил. — Сначала прямо. Потом налево.

Сергей шагнул за ворота, и Рим остался позади. Шум скутеров, голоса туристов, гудки — все словно отрезало ножом. Он оказался в другом государстве. Самом маленьком в мире. И самом закрытом.

Он шел мимо казарм гвардии, мимо аптеки Ватикана, мимо служебных зданий песочного цвета, во двор Бельведера. Потoki туристов текли совсем рядом, к Сикстинской капелле, но сюда, в рабочую плоть города-государства, их не пускали. Вход в архив он едва не пропустил: никакой вывески, никаких золотых букв. Просто дверь и маленькая латунная табличка с надписью «Archivio», которую надо искать глазами.

Внутри его встретили прохлада и особое безмолвие, плотное, как вата. Так тихо бывает лишь там, где толщина стен измеряется метрами. Привратник — пожилой человек в строгом темном костюме, больше похожий на дипломата, чем на вахтера, — снова потребовал документы. И начался настоящий досмотр.

Сергей знал правила назубок. Нарушение любого означало мгновенное и пожизненное изгнание без права возврата.

Сумку — в запирающийся шкафчик у входа. В читальный зал ее не проносят. Верхнюю одежду — туда же. Никаких чемоданчиков, тубусов, своих папок. Никаких ручек. Одна капля чернил на документе, которому семьсот лет, — и утрата невозможна. Писать разрешалось только простым карандашом. Сергей купил три — мягкие, заточенные. Привратник осмотрел их так внимательно, будто проверял, не спрятано ли в графите что-то еще.

Ни еды, ни воды, ни жвачки. Телефон — выключить и сдать. Фотоаппарат — только по особому разрешению, которое выдают единицам и не на все фонды. У Сергея разрешение было — он бился за него отдельно и выиграл этот бой с трудом.

Но главное правило Сергей Клепов усвоил еще в прошлый свой приезд, и оно поражало непосвященных сильнее всего.

— На стол, синьор, — негромко напомнил привратник, — нельзя класть ничего своего. Только то, что выдадим мы.

В читальном зале и хранилищах стояли особые столы. Поверхность каждого — не просто дерево: под ней, в столешнице, скрывались точные весы, тензодатчики. Любой предмет, положенный на стол, регистрировался по весу. Когда посетителям выдавали манускрипты, их взвешивали до грамма и делали это снова, когда рукописи возвращали. Если на стол ляжет что-то постороннее — блокнот, рука с зажатым в ней листком, лишний предмет, — система это увидит. А если вес выданного документа на выходе хоть на грамм не совпадет с тем, что был на входе... Сергей слышал историю про вырванную из кодекса миниатюру: вес страницы изменился на доли грамма, и человека взяли прямо у выхода. Поэтому здесь дольше необходимого не держали на столешнице даже собственный карандаш. Стол принадлежал не посетителю, а архиву.

Привратник выдал Сергею прозрачную пластиковую папку для немногих разрешенных рабочих выписок, провел через рамку металлодетектора — та пискнула на ключи, Сергей выложил их и прошел снова — и протянул пару тонких белых хлопковых перчаток.

— Для манускриптов до восемнадцатого века. Без перчаток не прикасаться. — И, наклонившись чуть ближе, добавил тише, с почти отеческой интонацией: — Здесь нельзя торопиться, синьор. Документы не любят спешки. И не любят жадных глаз. Берите по одному. Читайте медленно. Архив сам решит, что вам показать.

Сергей принял это за поэтическую вольность старого служителя. Позже он вспомнит эти слова с иными мыслями.

Большинство думает, что архив — это зал с книгами. Сергей знал правду: зал, куда пускают исследователей, — лишь крохотная верхушка. Сам архив уходил вниз, под землю.

Полвека назад, когда полук стало катастрофически не хватать, под двором Бельведера выкопали гигантское двухъярусное бетонное хранилище. Однажды Сергея, в виде огромного исключения и под присмотром отца Маттео, старого знакомого, провели туда. И это зрелище он не забудет до смерти.

Вниз вел узкий служебный лифт, после него начиналась металлическая лестница. Воздух менялся с каждым метром — становился суше и тяжелее. Здесь круглые сутки работал климат-контроль, державший постоянную температуру и влажность: бумага, пергамент, шелк боялись перепадов сильнее, чем огня. Дневной свет, губительный для чернил, не мог проникнуть в это святилище.

И там, в подземном бетонном чреве, тянулись они — пятьдесят с лишним километров полок. Серые металлические стеллажи, передвижные, сдвинутые вплотную друг к другу, чтобы экономить место. Чтобы добраться до нужного ряда, надо было крутить тяжелое колесо-штурвал на торце стеллажа, и многотонные секции с тихим скрежетом разъезжались, открывая проход — узкий коридор между стенами из коробок и кодексов. Тогда он стоял у разверзнувшейся

щели, а над ним и вокруг сгрудились века. Письма императоров. Буллы Пап. Дела инквизиции. Сергей помнил это физическое, почти головокружительное чувство: ты внутри спрессованной памяти человечества, и, если стеллажи сейчас сомкнутся, тебя не найдут никогда.

Над землей, в исторических залах, было иначе: там память выставляли напоказ: высокие потолки, потускневшие фрески, бесконечные ящички каталогов, многие из которых не оцифрованы и существуют в единственном экземпляре, написанные от руки монахами-архивистами столетие назад. Чтобы найти документ в этом лабиринте, нужно искусство; чтобы получить его — терпение. Иногда приходилось ждать часами, а после получать отказ без объяснений и уходить ни с чем.

Читальный зал порастил его не роскошью — суровостью. Длинное помещение, ряды простых столов с зелеными лампами. Под потолком — фрески сцен передачи Папам великих даров. Десятка полтора исследователей со всего мира. Седой японец с лупой над свитком. Женщина в очках, быстро строчившая карандашом. Священник, листавший фолиант с осторожностью сапера. Все молчали. Слышен был только шелест страниц — сухой, шепчущий звук, будто дышал сам архив.

Сергей подошел к стойке выдачи. За ней сидел тот, благодаря кому эта поездка стала возможной.

— Серджио! — отец Маттео поднялся навстречу, круглое лицо расплылось в улыбке. Они дружили пятнадцать лет — со времен, когда оба аспирантами рылись в библиотеках Болоньи. Теперь Маттео служил здесь одним из *scrittori* — ученых-архивистов, хранителей. Без его протекции Сергей не получил бы доступ и за десять лет.

— Тише, — шепнул Сергей, обнимая друга. — Нас отлучат за нарушение тишины.

— В моем зале я решаю, кого отлучать, — так же шепотом весело ответил Маттео. И тут же посерьезнел. — Я нашел больше, чем ты заказывал. В фонде, которого как бы нет. Иезуитский фонд. Часть его не разобрана с тех пор, как орден распустили в восемнадцатом веке, а потом восстановили. Когда я искал внизу твои бумаги по истории какао, я наткнулся на одну вещь. Она лежала не на своем месте, будто кто-то спрятал ее среди счетов за поставки сахара. И рядом — еще стопка: счета, какие-то листы, один совсем странный, весь в неведомых значках, непонятный травник из нерасшифрованных. Но это неважно, тебе нужен был кодекс.

Сергей почувствовал знакомый холодок предвкушения — то, ради чего он и жил все эти годы вопреки основной службе.

— Что за вещь?

— Сам посмотри. — Маттео огляделся, понизил голос. — Я положил ее в малый зал. Тебе с фотопропуском туда можно — я на все достал тебе допуск, все по правилам. Я сказал, ты работаешь с хрупким документом. Иди. Я принесу остальное позже — мне надо спуститься в Бункер, уточнить по каталогу. — Он вдруг посмотрел на друга странно, серьезно. — И будь осторожен с этой штукой, Серджио. Я не суверен, ты знаешь. Но когда я ее читал, у меня было... — Он покачал головой, не найдя слов. — Ладно, иди.

Малый зал был еще тише большого — если такое возможно. Комната без окон, освещенная одной настольной лампой. Один стол — тот самый, с весами под столешницей. Один стул. Войлочная подставка *Leggio* для манускрипта, чтобы не ломать переплет. И абсолютное заморское безмолвие, в котором Сергей слышал собственное сердце.

На подставке лежал тонкий кодекс. Рядом серела карточка с весом, проставленным рукой Маттео. Сергей надел перчатки. Хлопок приглушил чувствительность пальцев, и прикосновение к древней коже переплета вышло особенно осторожным, почти благоговейным. Кодекс оказался невелик, не больше тридцати листов в потрескавшейся телячьей коже, потемневшей до цвета горького шоколада. Ни названия, ни тиснения, только в углу обложки едва различимый оттиск: монограмма *IHS* в лучах. Печать Общества Иисуса. Иезуиты.

Он раскрыл его медленно, поддерживая страницы, как учили, — не разводя переплет шире, чем позволяла подставка. И, увидев почерк на первом листе, перестал дышать.

Он узнал бы эту руку среди тысячи. Двадцать лет Сергей Клепов читал чужие шифры — это была его служба, его ремесло; а рукописи Возрождения и тайны прошлого оставались страстью, которой он отдавал свободное время, исписав простыми карандашами горы блокнотов в архивах всей Европы. И эта манера, мелкая, бисерная, с наклоном влево, будто слова бежали от пишущего, была знакома ему до боли.

Мишель де Нотрдам. Нострадамус.

— Не может быть, — прошептал он, и голос показался чужим в мертвой тишине.

Текст был написан на смеси старофранцузского, латыни и чего-то еще, зашифрованного между строк. Но первая страница читалась почти открыто, словно автор хотел, чтобы ее нашли. Словно четыреста пятьдесят лет ждал именно того, кто сядет за этот стол.

Сергей склонился ближе и беззвучно зашевелил губами:

«Тот, кто вкусит сей темный нектар, приготовленный по сему уставу, отверзет око духа. И увидит он сокрытое во времени — грядущее, как видел его я. Ибо напиток сей из зерен заморских открывает врата прозрения, кои Господь затворил после грехопадения. Берегись же сего дара: первым он покажет тебе не славу и не любовь, но лица предателей твоих...»

Лица предателей твоих. Что-то в этих словах отозвалось неприятным эхом, и он не понял почему.

Зерна заморские. В середине шестнадцатого века? Какао пришло в Европу через испанцев лишь в начале столетия и долго оставалось диковинкой при дворах. Нострадамус умер в 1566-м. Возможно ли, что он знал о шоколаде? Пробовал? Использовал?

— Шоколад, — пробормотал Сергей себе под нос.

Безумие. Кодекс шестнадцатого века говорит о шоколаде? Он скользнул взглядом дальше. Рука Нострадамуса запечатлела рецепт: пропорции, ингредиенты, зашифрованные так, что прямой перевод давал бессмыслицу. Сергей уткнулся в словосочетание «Слеза севера». Метафоры и загадки, как и всегда. Нужен был ключ.

Он перевернул лист — осторожно, придерживая дыхание, — и тут это случилось впервые.

Холод. Короткий, острый, между лопаток. Будто кто-то стоял за спиной и смотрел в затылок.

Он обернулся: комната пуста, дверь закрыта. Только чуть слышно гудела лампа и тень подставки лежала на стене длинным неровным пятном. Никого. Маттео ушел в Бункер, а сюда без особого пропуска не впускали.

«Нервы, — сказал себе Сергей. — Разница часовых поясов и кофе натошак».

Но холод не уходил. И впервые за годы рационального, выверенного существования Сергей поймал себя на странном ощущении, поднявшемся из глубины, минуя разум: что за этой находкой кто-то уже идет. Что он не первый. Что слишком уж удачно Маттео наткнулся на спрятанный кодекс, слишком легко открылись сегодня двери. Сергей отогнал мысль усилием воли. Криптограф не верит в предчувствия. Криптограф верит в факты.

И вернулся к последней странице. Почерк Нострадамуса здесь менялся — стал торопливее, более нервным, будто писали в страхе или спешке. А в самом низу, на полях, другими чернилами и более поздней рукой — кто-то из иезуитов? — была приписка. Сергей склонился к листу еще ниже:

«Казанова. Темный близнец сего рецепта — для тех, кто желает не видеть, но владеть; не прозревать, но ослеплять. Светлый отверзает око. Темный его закрывает, даруя взамен власть над сердцами. Орден хранит оба. Берегись второго».

— Темный близнец, — повторил он одними губами.

Что это значило? Второй рецепт? При чем тут Казанова — авантюрист, живший двумя веками позже? Любопытство потянуло в новую бездну, но он заставил себя остановиться. Не сейчас. Одна тайна за раз. Перед ним лежал свет — рецепт прозрения, величайшая находка жизни. Тьма подождет. Сергей быстро сфотографировал приписку, едва осознавая зачем, повинаясь скорее инстинкту, и закрыл ее в дальнем уголке памяти. Заодно, не вставая, щелкнул и тот странный лист в неведомых значках, что Маттео оставил рядом, — на всякий случай. И вновь погрузился в работу.

Дверь за спиной скрипнула.

Сергей вздрогнул — слишком резко для человека, которому нечего скрывать. Слишком резко даже для криптографа, привыкшего к чужим тайнам.

— Простите. Я напугала?

Голос был мягким, с теплым итальянским акцентом, превращавшим русскую речь в мелодичную музыку. За спиной стояла женщина лет тридцати. Она замерла у колонны сбоку — там, откуда просматривались и вход, и лестница за этим входом, и кодекс. Сергей заметил это автоматически, как замечал все, что не случайно. В левой руке незнакомка держала папку. Темные волосы собраны небрежно, несколько прядей выбились. Одежда на ней была простая, но сидела безупречно.

— Лючия Конти. — Она шагнула в круг света лампы, и Сергей увидел ее глаза — цвета крепкого эспresso, с золотистыми искрами. — Меня прислали из канцелярии. Синьору Клеопову нужен переводчик со старых диалектов — старофранцузский, латынь — и сопровождение в поездке по архивам Италии. Канцелярия уже отправила в аббатство письмо: вас там ждут как исследователя, если вы не остановитесь на этом. — Она метнула быстрый взгляд на кодекс. — Такие находки обычно ведут дальше.

Сергей замер.

Он не подавал заявку на переводчика. Ее подавал Маттео и то лишь вчера, поздно вечером, когда канцелярия уже не работала. Откуда у канцелярии время найти, оформить и прислать сопровождающего к утру? И откуда эта Лючия знает, что находка «ведет дальше»? Сергей и сам еще не знал, так ли это.

«Совпадение, — сказал он себе. — У Маттео тут везде знакомые».

Но холодок между лопаток вернулся — тот же, что минуту назад.

— Я еще не решил, нужен ли мне сопровождающий, — медленно произнес он, недоверчиво окидывая ее взглядом.

— Конечно, решите. — Лючия чуть склонила голову. Она не улыбалась, но в голосе сквозила легкая улыбка. — Но позвольте помочь прямо сейчас. — Она кивнула на страницу. — Вы застряли на третьей строке снизу. «*Lume de la matina*» — переводите как «утренний свет». Но в провансальском, на котором иногда писал Нострадамус, это идиома. «Первый проблеск понимания». Озарение.

Сергей уставился на нее. Она была права. Он действительно застрял именно на этой строке и перевел ее неверно. Но как она увидела это — за его спиной, за две секунды, в документе, который якобы видит впервые?

— Откуда вы...

— У меня дар, — сказала Лючия и засмеялась — легко, обезоруживающе. — К языкам, синьор Клеопов. Только к языкам.

И на долю секунды, пока он смотрел на ее смеющееся лицо в желтом свете лампы, Сергею почудилось нечто иррациональное, от чего внутри все застыло: будто перед ним не лицо живой женщины, а красивая, искусно нарисованная маска. И за прорезями этой маски — чужие изучающие глаза.

Он моргнул. Наваждение исчезло. Просто Лючия — улыбающаяся, живая, чуть смущенная его молчанием.

— С вами все хорошо? Вы побледнели.

— Архивная пыль, — пробормотал он. — И недосып.

— Тогда вам точно нужен сопровождающий, — мягко сказала она. — Кто-то должен следить, чтобы великий исследователь ел и спал, а не только говорил с призраками Нострадамуса.

Где-то в недрах Ватикана глухо ударил колокол, отбивая час. Сухой шелест страниц в соседнем зале на миг стих, будто все исследователи разом подняли головы, и возобновился. А в той части души Сергея, которую он привык не слушать, что-то тихо произнесло:

«Берегись второго рецепта. И той, что нашла дорогу к твоему столу».

Он не стал прислушиваться.

— Когда выезжаем? — спросил он, бережно закрывая кодекс и сверяясь взглядом с карточкой веса. — Есть одно аббатство. Фраттоккье. Думаю, начать стоит оттуда.

— Поехали, — кивнула Лючия.

* * *

Поездку пришлось отложить. Через два часа после того, как Сергей впервые услышал звонкий смех Люции, ему передали записку. Он не удивился такому старомодному способу связи, только отметил для себя, что кто попало не будет приглашать его в капеллу Святого Петра в вечернее время — тогда, когда туристов уже перестают пускать внутрь. Подпись лаконично гласила «R».

Охранник у входа посмотрел на Сергея, потом на что-то в телефоне, кивнул и пропустил без вопросов. Сергей наказал себе ничему не удивляться, перекрестился и шагнул внутрь.

В капелле было темно. Только горели свечи у алтаря — живые, не электрические. Сергей машинально считывал детали окружающего пространства: живые свечи в эпоху светодиодов — это или выбор, или попытка произвести впечатление.

Но человек, стоявший у дальней стены к нему спиной, явно не разменивался на показную мишуру. Красная сутана выдавала его положение, но не отвечала более ни на какие вопросы. Он рассматривал одну из фресок — Сергей пригляделся, но различить, что это, не смог.

— Садитесь, — обронил незнакомец, и Сергей поразился тому, какой старый, но не старческий у него голос. — Здесь хорошая акустика. Слова звучат иначе, чем снаружи.

Сергей сел на скамью у стены и замер в ожидании, рассматривая того, кто его позвал. Тот, без сомнения, был очень стар, но время не согнуло его, только проредило седые волосы. Старик молчал еще минуту. Огонь свечей стоял вертикально — в капелле замер даже воздух.

— Несколько лет назад, — начал он не оборачиваясь, — один из наших диоцезов в Баварии запустил эксперимент.

Сергей вновь поразился тому, как четко звучит его голос. По затылку было сложно определить, но он не дал бы этому человеку меньше восьмидесяти лет. Люди к этому возрасту обычно теряют и хватку, и глубину тона, но этот голос явно привык раздавать указания и отпускать грехи.

— Исповедь через искусственный интеллект. Все довольно просто: экран, микрофон, система, которая слушает, задает вопросы и произносит слова отпущения.

Старик сделал паузу и глубоко выдохнул, будто признавая поражение, Сергею еще неизвестное.

— Очередь была длиннее, чем к живому священнику.

Сергей не двигался, ловя каждое слово.

— Люди приходили охотнее, — продолжал старик, и в его голосе читалась горькая улыбка. — Потому что не стыдно. Потому что система не осудит. Не запомнит лично. Не посмотрит завтра на улице. Анонимность исповеди, которую мы всегда обещали, наконец стала настоящей.

На этот раз пауза оказалась длиннее.

— Ватикан закрыл эксперимент через восемь недель, — продолжил незнакомец. — Официальная причина теологическая. Таинство требует живого священника. Это доктрина.

— А настоящая причина? — спросил Сергей.

Человек обернулся.

Сергей наконец увидел его лицо полностью. Старое. Очень старое, но не дряхлое. Лицо человека, которого время обтесывало как камень — убирало лишнее, оставляло суть. Сергей думал, ему около восьмидесяти, но сейчас явно видел: восемьдесят этому человеку было давно. Может, лет семь или даже десять назад.

— Настоящая причина в том, что никто не мог объяснить, чего именно не хватало. — Он чуть наклонил голову. — Система работала правильно, задавала верные вопросы, произносила верные слова. Люди выходили и говорили, что чувствуют облегчение.

Он подошел к скамье напротив и сел.

— Но я разговаривал с теми, кто исповедовался через систему, и с теми, кто исповедовался у живого священника в тот же день по тому же греху. — В Сергея уткнулся цепкий взгляд. — Разница была, но назвать ее никто не смог.

— Что это была за разница? — тихо спросил Сергей. Говорить здесь громко казалось кощунством.

— Те, кто пришел к системе, получили ответ, — сказал старик. — Те, кто пришел к живому священнику, получили что-то еще.

— Кто вы? — отмер Сергей. Старик чуть заметно усмехнулся.

— Думал, не спросите.

— Думал, представитесь сами. — Нечаянная дерзость не разозлила его собеседника, даже немного позабавила.

— Кардинал Ринальди, — уронил он, подтверждая догадки Сергея. И снова замолк. Сергей смотрел на ту стену, у которой стоял Ринальди, и все пытался понять, что за фреску тот разглядывал. Это казалось важным.

— В начале было Слово, — произнес кардинал наконец. — Вы знаете этот текст?

— Конечно. Иоанн, первая глава.

— Большинство читают это как поэзию или как красивую метафору. — Он помолчал. — Но это не метафора.

Сергей слушал.

— Слово — это не символ, не информация. Не набор звуков, которому мы присвоили значение. — Кардинал говорил тихо, но в акустике капеллы каждое слово втекало Сергею в уши ровно так, как должно, — мягко и неумолимо. — Слово — это первичная энергия. Та, из которой сделано все, что существует.

Кардинал делал большие паузы, но Сергей четко видел: это не старческая забывчивость или неуверенность. Он отделял предложения друг от друга, решая за своего собеседника, когда тому нужно подумать над сказанным.

— Когда человек произносит слово на исповеди, происходит не передача информации. Происходит передача энергии. Его боли, стыда. Его желания стать другим, которое он сам в себе еще не признал. Я принимаю эту энергию и возвращаю — иной, очищенной. Это и есть отпущение. Вот чего не было в системе, — добавил он еще тише. — Система произносила правильные слова, но не принимала энергию человека и, как следствие, не могла ее вернуть.

Он посмотрел на Сергея.

— Человек получал ответ, но не обмен.

Сергей отвел взгляд — не уступая, но задумываясь, — и нахмурился.

Он подумал о системах, которые строил. О CONTINUUM. О миллиардах точек данных. О прогнозах, которые сбывались с точностью девяносто четыре процента. И о шести процентах, которые не сбывались никогда.

Всегда одни и те же шесть процентов. И каждый раз, когда он смотрел на них, что-то сжималось в груди. Не профессиональное беспокойство, что-то другое. Как будто эти шесть процентов знали что-то, чего не знал он.

— Ваши системы, — внезапно сказал кардинал, будто подслушав мысли, — они читают слова?

— Читают все, — отозвался Сергей раньше, чем подумал. — Слова. Паузы. Интонацию. Микровыражения.

— И они точны?

— Очень.

— В прошлом, — сказал кардинал.

Сергей поднял вопросительный взгляд.

— Они точны в том, что человек уже сделал, — объяснил Ринальди. — В том, что оставило след в данных. Но того, куда человек идет, того, что еще не случилось, в данных нет. Это существует только в энергии. В живом токе между людьми, которые находятся рядом.

Повисшая пауза показалась Сергею неподъемно тяжелой.

— Этого ваши системы не читают. Это не значит, что они плохие. Просто это нельзя считать, только почувствовать.

Сергей сидел неподвижно. Он понял вдруг — с той ясностью, которая приходит не от размышления, а от чего-то другого, — что эти шесть процентов всегда были про будущее. Он не ответил, и в этом молчании не было растерянности. Было отсутствие потребности говорить. Сколько они так просидели, он не знал. Но вот в глубине сознания зашевелилась какая-то мысль, и Сергей, подловив, выдернул ее за хвост.

— Нострадамус, — выдохнул он наконец.

— Да, — кардинал одобрительно кивнул, будто ждал это имя.

— Он был врачом. Сидел у постели умирающих.

— Он слышал слова пациентов так же, как я слышу их на исповеди, — сказал Ринальди.

— Не симптомы. Энергию. То, что человек нес в себе. И то, что могло исцелить.

— И он нашел способ усилить это.

— Он нашел способ не мешать этому, — поправил кардинал. — Убрать собственный шум. Страх, усталость, сомнение — все, что стоит между врачом и пациентом. Между священником и человеком, который пришел на исповедь, — он умолк, подбирая слова. — Между человеком и его собственным знанием о себе.

— Собственным знанием о себе, — медленно повторил Сергей.

— Мы знаем больше, чем думаем, — просто сказал Ринальди. После предыдущих его речей это показалось даже странным. — Всегда. Ответы, которые ищем годами, уже внутри. Просто мы создаем слишком много шума, чтобы их услышать.

В капелле снова воцарилась тишина.

— Был один человек, которого я исповедовал лет двадцать назад, — продолжил кардинал доверительным тоном. — Молодой ученый. Он пришел с одним вопросом — и говорил час, не меньше. Он говорил об исследованиях, данных, методологии. Очень точно и очень подробно, как делают люди, горящие своим делом.

Кардинал мечтательно улыбнулся.

— Когда он закончил, я спросил его: «Что вы чувствуете прямо сейчас? Не думаете, а чувствуете».

— Что он ответил?

— Он молчал четыре минуты и пятнадцать секунд, — сказал Ринальди. — Я считал. Потом произнес одно слово. И заплакал.

— Какое слово?

Кардинал посмотрел на Сергея как на ребенка и покачал головой.

— Неважно какое. Важно, что он уже знал его до того, как пришел. Он просто не давал себе достаточно тишины, чтобы услышать.

Ринальди медленно, с достоинством встал. Разговор заканчивался, и в нем было сказано ровно столько, сколько нужно, Сергей это чувствовал. Но рациональность и профессиональная привычка требовали уточнений.

— Почему вы рассказываете мне это? — спросил он.

Кардинал вновь посмотрел на него как на ребенка.

— Потому что вы вошли сюда, и я почувствовал вашу энергию раньше, чем вы произнесли первое слово, — тихо ответил он. Не пытался мистифицировать, не запугивал, просто сообщал. — Вы несете в себе вопрос, который ищите уже давно. И вы уже знаете ответ.

— Я вошел сюда, потому что вы меня позвали.

— И сделали это не зря.

— Тогда зачем мне искать этот ответ?

— Затем, — сказал кардинал, — что знать и слышать себя — разные вещи.

Он пошел к выходу, но остановился в дверях. Не оборачиваясь, уронил в пустоту:

— Нострадамус оставил не рецепт тишины. Он оставил разрешение. Разрешение замолчать достаточно надолго, чтобы услышать то, что уже знаешь.

Дверь закрылась, Сергей остался наедине с послевкусием этой встречи. Рука сама нашла нашейный крестик на простой цепочке и сжала в попытках найти ответы. Рим за стенами капеллы входил в ночь — медленно, с достоинством города, который знает, что переживет еще тысячи ночей.

Сергей сидел и не думал ни о чем конкретном — впервые за очень долгое время. И в этой тишине что-то начинало проясняться. Не мысль. Не вывод. Что-то глубже. То, что было там всегда.

Глава 1. Аббатство Фраттоккье

Рим

Лючия вела машину так, как другие женщины носят дорогое платье, — не задумываясь, всем телом зная, что оно сидит идеально.

Сергей смотрел на ее руки на руле и ненавидел себя за этот взгляд. Двадцать лет он учил одно правило: не доверяй тому, что приятно. Приятное — это приманка. Криптограф знает — самый красивый ключ чаще всего поддельный. Самая стройная гипотеза — ловушка. Он построил на этом всю карьеру и, кажется, угробил две попытки на семейную жизнь. И вот теперь ехал в чужом автомобиле, на чужой дороге, а сердце стучало против всех его правил — глупо и часто, как у мальчишки.

«Прекрати, — приказал он себе. — Думай как профессионал».

А профессионал твердил неприятное.

«Считай факты. Она появилась через двенадцать часов после того, как Маттео подал заявку, ночью, когда канцелярия спит. Она читает по-провансальски — на мертвом языке, на котором писал твой объект. Она родом из города, где этот объект умер. Она угадывает твои мысли раньше тебя самого».

В его ремесле это называли не совпадением. Это называли легендой — биографией, сшитой точно под цель. Под него.

Сергей сглотнул.

— Вы молчите уже двадцать минут, — сказала Лючия, не отрывая глаз от дороги. — У русских это либо влюбленность, либо подозрение. У вас что?

Он вздрогнул. Снова слишком точно.

— Усталость, — солгал он.

Лючия едва заметно улыбнулась.

— Самый удобный ответ. Им можно прикрыть и первое, и второе.

И тут Сергей понял, что по-настоящему опасается не того, что она лжет, а того, что ловить на лжи ее не хочется. Что какая-то часть его, уставшая от напряжения ума и одиночества, готова закрыть глаза на тревожные звоночки. И эта готовность пугала сильнее любой слежки.

За окном плыли кипарисы, выстроенные вдоль холмов черными восклицательными знаками.

— Сбавьте здесь, — попросил он, сверяясь с картой. — Кажется, поворот.

Лючия притормозила — и вдруг резко вильнула, объезжая что-то на дороге. Сергея качнуло, но он успел схватиться за ручку над окном.

— Ежик, — виновато сказала она. И покраснела. По-настоящему — пятнами, до шеи, как краснеют дети, застигнутые за чем-то стыдным. — Простите. Глупо. Я с детства не могу... если на дороге кто-то живой. Отец смеялся — говорил, из меня выйдет плохой водитель и хорошая монахиня.

Она отвернулась, явно злясь на себя за эту слабость.

И Сергей вдруг поймал себя на том, что улыбается — впервые за несколько дней искренне. Потому что вот это — нелепую краску на щеках и стыд за собственную мягкость — подделать было нельзя. Легенду шьют из фактов, из языков и биографий. Но не из ежа на проселочной дороге. Не из детского, неудобного, выдающего с головой милосердия.

«Может, я все-таки ошибаюсь, — подумал он, и сердце глупо обрадовалось. — Может, я просто старый параноик, который разучился верить людям».

Он отвернулся к кипарисам и задышал ровнее.

Аббатство возникло внезапно, как возникает в Италии все древнее: едешь среди обычных виноградников, лениво шуришься на солнце, и вдруг за рядом черных пиний встает стена медового камня, простоявшая здесь дольше, чем существует твоя страна.

Они проехали Субиако час назад — настоящий, открыточный, с автобусами и японцами у знаменитого Сан-Бенедетто, что висит на скале над ущельем. Лючия даже не сбавила там ход.

— А нам не туда? — спросил Сергей, кивнув на указатели.

— Туда возят всех, — отмахнулась она. — А нас ждут там, куда не возят.

И свернула на проселок, которого не было на карте.

Сергей вышел из машины. Горячий воздух ударил в лицо запахом нагретого тимьяна, пыли и чего-то еще, еле уловимого, сладковато-горького, словно где-то рядом жгли смолу или старый ладан. Цикады надрывались оглушительно, как помехи в радиоэфире, и вдруг разом смолкли все до единой, будто кто-то повернул выключатель. В наступившей тишине стало слышно, как поскрипывает на ветру ржавая цепь колодца и как где-то под землей тихо журчит вода.

Сергей задрал голову и увидел аббатство целиком.

Аббатство Санта-Мария-делле-Фраттоккье не было похоже ни на одно, что он видел прежде, — а видел он их немало. Оно не парило, как готические соборы севера, и не давило роскошью, как римские базилики. Оно вросло в землю — приземистое, тяжелое, звериное, как изготовившийся к прыжку лев. Стены сложили из двух камней: золотистого травертина и черного вулканического туфа, и за восемь веков они перемешались полосами так, что издали казалось, что здание полосатое, как шкура какого-то библейского зверя. Зияли полукруглые романские арки. Недоверчиво шурились узкие окна-бойницы — монастырь строили в смутный век, и здесь молились, держа меч под рукой.

Но не это заставило Сергея замереть.

Над входом, в полукруглом поле-люнете, темнела резьба, какой он не встречал ни в одном справочнике. Не Христос, не Богородица, не привычные святые. Пчелы. Десятки каменных пчел, вырезанных так искусно, что в полуденном мареве они словно шевелились, ползли по камню. А в центре роя — фигура монаха с воздетыми руками, и из его раскрытого рта вылетал, обращаясь в камень, целый рой.

— Святой Амброджо? — пробормотал Сергей себе под нос, воскрешая имя в памяти. Покровитель пчеловодов, на чьи уста, по преданию, в младенчестве сел рой и не ужалил, предвещающая «медовую сладость» речей.

— Нет, — раздался голос за спиной. — Это наш блаженный Джероламо. Тот самый, чьи бумаги вы ищете.

Сергей обернулся.

В тени портала стоял настоятель — крошечный старик с лицом, похожим на печеное яблоко, и неожиданно молодыми, ясными глазами. Отец Бенедетто.

— Туристы сюда не доезжают, — сказал старик. — В путеводителях нас нет, и слава Богу. Там, наверху, у Сан-Бенедетто, розы без шипов да открытки. А мы — старый скит. Грангия. Нас и епархия-то полузабыла. Так спокойнее. А вы смотрите на пчел. Все, кто приходит впервые, смотрят на пчел. — Он улыбнулся беззубым ртом. — Хотите услышать то, чего вам не расскажут нигде?

И, не дожидаясь ответа, повел их внутрь.

— Брат Джероламо пришел к нам пятьсот лет назад, — заговорил настоятель, и голос его в гулком нефе зазвучал глуше. — Уже стариком. Был он аптекарь, травник, знал языки, которых здесь никто не понимал, и привез с собой сундук бумаг да странные семена в холщовых мешочках. Монахи его сторонились: шептали, будто водил он дружбу с каким-то французским звездочетом, что предсказывал будущее. — Старик хитро глянул на Сергея. — Но я вижу, вам это имя знакомо.

Сергей промолчал, чувствуя, как холодеют ладони.

— Так вот. — Отец Бенедетто остановился перед боковым алтарем. — Когда Джероламо умер, случилось то, о чем не пишут даже в монастырской хронике, — только передают из уст в уста. Тело его не стали хоронить сразу: стояла жара, ждали епископа из Рима. Положили в нижней крипте, на камне. А наутро братья спустились и обомлели. Все тело старика покрывали пчелы. Они не жалили, не улетали, сидели плотно, как кольчуга, и тихо гудели. И запах... — старик прикрыл глаза, — запах стоял не тлена, а меда и роз. Девять дней пчелы стерегли тело. На десятый поднялись разом, вылетели в окно крипты, и больше их никто не видел. А тело осталось нетленным. Лежит и поныне.

— Поныне? — переспросила Лючия. В ее голосе Сергей расслышал что-то настоящее — не игру, а живое, детское изумление.

— Идемте, покажу. Если не боитесь.

Они спустились в нижнюю крипту по узкой витой лестнице, стертой подошвами тридцати поколений. Воздух здесь был холоден и влажен, и тот же сладковато-горький запах — меда, роз, ладана — сделался гуще, осязаемее. И все отчетливее слышалось то, что Сергей уловил еще наверху: журчание воды.

— Вы слышите? — спросил он.

— Слышу, — кивнул старик. — Это он, наш источник. Сейчас.

Крипта открылась перед ними — низкая, сводчатая, древний корень этого места. И в самом ее центре, в выдолбленной прямо в скале чаше, тихо бил родник. Вода поднималась из черной глубины беззвучными толчками, переливалась через край каменной чаши и уходила в узкую щель в полу, чтобы пропасть где-то в недрах холма. Над водой стелился еле заметный пар, и в свете лампы капли на сводах вспыхивали, как россыпь монет.

— Источник Джероламо, — тихо сказал настоятель. — Тайный родник. О нем нет ни в одной книге — только в нашей памяти. Когда старик пришел сюда умирать, воды здесь не было: сухая яма, и все. А в ночь его смерти забил сам собой. С тех пор не иссякал ни в одну засуху, даже когда пересыхали все колодцы в округе. — Старик медленно, с кряхтением наклонился, зачерпнул морщинистой ладонью и отпил. — Вода теплая. Понимаете? Теплая, как слеза. И соленая — чуть-чуть. Будто земля плачет.

Сергей опустил на колено и тоже набрал воды. Она и вправду была теплой — неестественно теплой для подземелья. На языке остался слабый солоноватый привкус и тот же неуловимый аромат роз.

«Слеза севера», — мелькнуло у него в голове. И тут же эту мысль подсекла другая: «Рецепт». Если первый ингредиент — вода, то не любая, а именно эта.

— Люди верят, — продолжал старик, — что эта вода показывает правду. Кто посмотрит в чашу с чистым сердцем, увидит свое отражение. А кто пришел со злым умыслом или с ложью на душе — не увидит ничего. Черную воду, и все.

И тут Сергей не удержался. Он не стал смотреть в воду сам. Он посмотрел на Люцию.

Она стояла на коленях у чаши, склонившись над темной водой, и ее немного испуганное лицо отражалось настолько четко, насколько это было возможно в рябящей воде. Сергей и сам не знал, чего ждал, но выдохнул с облегчением, которого устыдился.

А Лючия вдруг тихо сказала, не поднимая глаз:

— Моя мать возила меня к такому источнику. В детстве. Я долго болела, и она верила... — женщина осеклась, словно ляпнула лишнее. — Глупости. Простите. Вода — просто вода.

Но Сергей уже видел: на ее ресницах блеснуло. И эта вторая непрощенная слабость — после ежа на дороге — окончательно его обезоружила.

«Нет, — подумал он почти с отчаянием. — Не может человек так играть. Слезы по матери не подделать».

И все же холодный голос внутри не умолкал: а вдруг именно на это и расчет?

В дальней нише за кованой решеткой в стеклянном саркофаге лежал монах.

Сергей подошел вплотную и почувствовал, как по спине пробежал озноб. Тело брата Джероламо не истлело. Кожа цвета старого пергамента туго обтягивала скулы, руки были сложены на груди, и в них лежала высохшая ветвь чего-то, отдаленно похожего на лавр. Но самым жутким было лицо. На губах мертвеца застыла улыбка. Не оскал высохших мумий — а тихая, всезнающая улыбка человека, которому открылось то, чего живым видеть не дано.

— Он улыбается уже пятьсот лет, — благоговейно сказал настоятель. — Реликвия не признана Ватиканом. Трижды приезжали комиссии. Один кардинал, говорят, после этой крипты отказался от сана и ушел в затворники. А простой народ ходит сюда тайком лечиться. Кладут под решетку записки с просьбами. Особенно те, кто... — старик помедлил, — кто хочет увидеть будущее. Или, наоборот, отчаянно хочет его не знать.

Сергей опустил взгляд. У подножия саркофага, в щелях решетки, серели свернутые бумажки — десятки, сотни записок. Среди пожелтевших, истлевших клочков взгляд выцепил одну записку — совсем свежую, белую. Недавнюю.

Он не успел ее разглядеть.

— А вот это, — резко сказал старик, и в голосе его лязгнул металл, — трогать нельзя. Чужие просьбы не читают, синьор. Это все равно что вскрыть чужое письмо. — Он посмотрел на гостя в упор. — Хотя вы, я слышал, как раз по этой части — читать чужие письма?

У Сергея пересохло во рту. Откуда старик знает его ремесло? В письме из Ватикана значилось лишь «исследователь».

Настоятель повел их к дальней стене, где из темного туфа выступал гладкий, отполированный до блеска валун.

— Здесь родной брат нашего источника. *Pietra che piange*. Камень, который плачет. Раз в год, в ночь смерти блаженного, с тринадцатого на четырнадцатое июля, по нему стекают капли — тоже теплые и соленые. Приезжали ученые, говорили, что это конденсат и влажность от родника. — Старик пожал плечами. — Может, и так. Только конденсат не выбирает себе одну ночь в году и не пахнет розами.

Сергей коснулся камня, сухого и холодного. До ночи, о которой говорил старик, оставалось еще четыре месяца, так что проверить его слова возможности не было. Под пальцами ощущалась странная, едва уловимая вибрация, будто глубоко внутри что-то жило. Будто там, в толще камня, пульсировала та же теплая вода.

Уже выходя, Сергей заметил странность: в нефе было тринадцать колонн, и тринадцатая, в самом темном углу, стояла словно лишняя — кривая, врезанная позже и грубее остальных.

— Не считайте их, — спокойно сказал настоятель не оборачиваясь. — Дурная примета. Их всегда выходит то двенадцать, то тринадцать, то четырнадцать — никто дважды не насчитал одинаково. Говорят, тринадцатую поставил сам Джероламо. И говорят, — старик понизил голос, — что за ней он что-то замуровал. Не бумаги — предмет. Наш брат Паоло называл его «оком». Плоский, вроде диска с прорезями, а лицом — как зеркало, гладкий до черноты. Без него, мол, писанное блаженным не прочесть: сколько ни бейся над буквами, они молчат. Наложить на страницу, глянешь в отраженное — и слова сами станут в ряд. Ключ, а не клад. Так Паоло сказывал. Мы не трогаем. Боимся.

Сергей и Лючия переглянулись. И в этом взгляде не было ни флирта, ни игры. Было одно, общее на двоих: они оба услышали слово «ключ».

— Святой отец, — осторожно начал Сергей, — а эту колонну кто-нибудь пытался...

— Десять лет назад, — перебил старик, и лицо его потемнело. — Тот господин. Француз. Или швейцарец. Он тоже спросил про колонну. В ту же ночь у нас пропала тетрадь блаженного. А наутро... — отец Бенедетто перекрестился, — наутро заплакал камень. Не в июле. В первый и единственный раз не в свою ночь. А родник в ту ночь стал черным. Старый брат Паоло сказал: «Джероламо плачет, у него украли». Через неделю брат Паоло умер во сне. С улыбкой, точно

такой же, как у Джероламо. — Старик помолчал. — А только бумаги те вору не впрок. Без ока — что вода в решете. Читал он их, читал — да так, видать, и не вычитал.

Старик медленно повернулся к ним.

— И запомните, синьор: то, что он спрятал, — не про вашу жизнь и не про мою. Это про всех. Потому и берегли столько лет. Так что вы ищите на самом деле, синьор криптограф?

Библиотеку настоятель отпер неохотно — будто отдавал ключи от собственной совести. Она пряталась этажом выше крипты, в сухом сводчатом подвале. Вдоль стен чернели дубовые шкафы; в дальнем углу темнел окованный железом ларь.

— Бумаги Джероламо там. Все, что осталось после того визита. Заприте, когда закончите. Ключ под Распятием.

Шаги его стихли наверху. Они остались вдвоем в круге желтого света масляной лампы. Сергей опустился на колени, поднял тяжелую крышку. Пальцы сами вспомнили выучку: касайся бережно, как касаются спящего. Почти сразу пальцы наткнулись на сложенный вчетверо лист.

Он развернул его и не поверил своим глазам. Бисерный почерк. Наклон влево. Слова, словно убегающие от пишущего.

Рука Нострадамуса.

— Лючия, — голос сел. — Подойдите. Это его письмо.

Она опустилась рядом — так близко, что он ощутил тепло ее плеча и слабый, горьковато-сладкий запах волос, похожий на какао. Он начал переводить — медленно, вслух, чувствуя, как пересыхают губы:

«Брат мой во Господе. Если ты читаешь сие, значит, я отошел и тайна осталась на тебе одном. Ключ к составу я разделил надвое, дабы никто, нашедший лишь половину, не отверз ока духа себе на погибель. Первую половину ты схоронишь, где знаешь, и да напоит ее живая вода. Вторую же я сокрыл там, где мы вкушали горький напиток и где я впервые увидел грядущее, — в городе воды и стекла, в доме под знаком черного арапа...»

Сергей умолк.

«Да напоит ее живая вода». Родник. Первая половина — здесь и связана с источником. А вторая...

— Венеция, — выдохнул он.

— Венеция, — эхом откликнулась Лючия на полсекунды раньше него.

«Ключ к составу я разделил надвое...» Сергей знал этот прием. Так прячут шифр те, кто боится собственного текста: одна часть — что читать, другая — чем читать. Половина рецепта здесь, у воды. А «око» — за кривой колонной, гладкое как зеркало, с прорезями. И без него, вдруг понял он, вторая половина в Венеции будет так же нема, как эти страницы были немы для вора десять лет назад.

Он медленно повернул голову. Лючия смотрела на письмо, и золотые искры лампы плясали в ее зрачках. Сергей вспомнил ее слезы у источника, ежа на дороге, краску на щеках — и не смог собрать прежнего холода внутри.

А в той части его существа все же прозвучала целая фраза. И он не отмахнулся.

«Дом под знаком черного арапа. Казанова. Берегись второго рецепта. И той, что слишком вовремя нашла дорогу к твоему столу».

— Что-то не так? — Лючия подняла на него взгляд. — Вы белы как мел, Сергей.

Она назвала его по имени. И от этого предательски потеплело в груди.

— Все хорошо, — солгал Сергей, складывая письмо. И натянул улыбку, какой улыбаются, чтобы спрятать все. — Просто, кажется... мы едем в Венецию.

Он смотрел ей в глаза и думал: «Я повезу тебя с собой. И буду смотреть, кому ты звонишь по ночам. Потому что обязан. И потому что — да поможет мне Бог — мне все еще хочется ошибиться. И, кажется, я уже почти хочу этого больше, чем оказаться правым».

Наверху что-то упало. Глухой тяжелый стук, будто на каменный пол обрушился увесистый том или тело. Сергей замер, все еще держа письмо в руке. Лючия рядом перестала дышать. Цикады за узким окном подвала оборвали свой стрекот — все разом, как тогда, во дворе. В наступившем безмолвии безучастно продолжал журчать источник, которого не касались проблемы живых.

— Отец Бенедетто? — позвал Сергей. Голос ушел в своды и вернулся чужим.

Никто не ответил.

Он поднялся, машинально сунув письмо во внутренний карман, не отдавая себе отчета, что делает это как вор, и шагнул к лестнице. Лючия перехватила его за рукав. Пальцы у нее были холодные.

— Не ходите, — прошептала она. — Пожалуйста.

И в это мгновение Сергей снова поймал то, от чего отмахивался весь день: желание ей верить. Он смотрел в испуганные глаза Лючии и не мог понять — это страх за него или страх перед тем, что вот-вот раскроется.

— Я быстро, — сказал он и осторожно снял ее руку со своего рукава.

Он поднялся по стертым ступеням. Дверь в неф была приоткрыта. В косом вечернем свете, лившемся сквозь окна-бойницы, плавала золотая пыль.

Настоятеля нигде не было.

А посреди нефа, у подножия тринадцатой колонны лежал на плитах тяжелый фолиант. Упавший корешком вниз, как подстреленная птица, и раскрывшийся посередине.

Сергей подошел. Наклонился, чтобы поднять книгу.

И понял, что она упала не сама.

На раскрытой странице, поверх латинского текста, лежала белая записка. Та самая — из-под решетки саркофага, которую нельзя было трогать. Кто-то ее все-таки достал и оставил здесь. Для него.

Сергей развернул листок. Надпись незнакомым убористым почерком на латыни гласила: «Quaerite et invenietis».

«Ищите, и обрящете». Матфей, глава седьмая. Сергей ощутил, как внутри медленно вскипает раздражение. Некто был здесь. Некто опережал его. И некто наблюдал, даже не особо скрываясь.

Цикады за стеной снова запели — все разом, как ни в чем не бывало.

А снизу, из библиотеки, донесся голос Лючии — ровный, спокойный, без тени прежнего испуга. Она с кем-то говорила — тихо, быстро, на языке, которого Сергей не знал. Ответов он не услышал.

Глава 2. Зеркало пишет наоборот

Винчи

Машину Лючия вела уверенно, как человек, который ездил этой дорогой не раз, хотя сказала, что в этой части Италии впервые. Сергей отметил это и тут же одернул себя: после Фраттоккье он замечал слишком много. Так бывает, когда раскроешь один шифр: какое-то время весь мир кажется зашифрованным и система мерещится даже в трещинах асфальта.

Окрестности Рима остались позади мокрым серым пятном. Дворники сметали мелкий дождь, и в их ровном ходе Сергеем слышался ритм — два долгих, один короткий, два долгих. Он поймал себя на том, что считает. Профессиональная болезнь. Криптограф не отдыхает никогда; его мозг ищет закономерность даже там, где ее нет.

Копия рецепта лежала во внутреннем кармане, в пластиковом файле. Оригинал — письмо из крипто — он оставил в надежном месте еще в Риме. С собой вез только эту половину, ту, что сумел прочесть за ночь в аббатстве. Зеркальная пластина осталась там, за кривой колонной. Сергей вез половину, которую мог прочесть, и ехал за половиной, прочесть которую было нечем.

— Ты опять ушел, — сказала Лючия, переходя на «ты» легко и непринужденно. — Куда на этот раз?

— В дворники.

Она рассмеялась — коротко, тепло, без вопроса. И вот это ее свойство — не переспрашивать, принимать его странности как погоду, — было приятнее всего. Слишком приятно. Голос внутри шевельнулся: «Не доверяй тому, что нравится».

Сергей достал файл и развернул на колене ксерокопию. Полстраницы, испещренные знаками. Старопровансальский, латынь и поверх что-то третье, не язык вовсе, а рисунок: переплетенные линии, похожие на жилы листа или на русло реки с притоками.

— «Слеза севера найдет кость святого, — прочел он вслух первую строку. Перевел сам, еще в крипте. — И живая вода покажет лицо. Но прежде иди туда, где зеркало пишет наоборот».

— Зеркало пишет наоборот, — повторила Лючия. — Леонардо.

Сергей повернулся к ней так резко, что ремень врезался в плечо.

— Почему Леонардо?

— Он писал зеркально. Все его тетради читаются справа налево, отражением. — Она прищурилась, как будто вспоминая. — В школе показывали. Подносишь зеркало — и читаешь.

Это было правдой. Сергей сам шел к Леонардо, но другим путем: через логические цепочки, числовой код букв, через двадцать минут расчетов в голове. А она пришла к тому же за секунду, то ли вспомнив, то ли почувствовав. Пальцы сжали крестик, висящий на шее.

— Что? — спросила она, поймав его взгляд. — Я сказала глупость?

— Нет. Ты сказала правильно. — Он мотнул головой. — Но слишком быстро.

Что-то мелькнуло в ее лице. Не испуг — Сергей знал, как выглядит испуг, видел его не раз и с той, и с другой стороны допроса. Это было другое. Тень. Будто она услышала вопрос, которого он не задал.

— Я просто угадала, — пожала плечами Лючия. Так легко, что Сергей невольно подумал: угадывать — это и есть ее профессия?

Он не успел додумать эту мысль. Взгляд за что-то зацепился. В зеркале заднего вида, через несколько машин, держался серый седан. Тот же, что стоял у выезда из Фраттоккье. Тот же, что — Сергей мог поклясться — он видел еще в Риме.

Автомобиль держался ровно. Не приближался, не отставал. Так ведут не того, кого хотят догнать. Так ведут того, кого хотят довести.

— Лючия, — сказал он спокойным ровным голосом. — На следующем съезде уходи направо. Не к Флоренции. В сторону.

— Но Леонардо — это Винчи, нам прямо...

— Я знаю, где Леонардо. — Он не отводил взгляда от зеркала. — Сделай, как я говорю. Она сделала. Без спора мягко увела машину на узкий съезд, в холмы.

Серый седан ушел прямо. Не свернул.

Сергей выдохнул. И тут же понял, что выдыхать рано: тот, кто умеет вести, не нервничает, когда жертва свернула. Он просто знает, что у жертвы все равно одна дорога. Объезд по холмам вольется в ту же трассу парой десятков километров дальше — другой в Винчи нет.

— Серджио, — тихо сказала Лючия, когда холмы сомкнулись за ними и дождь почти стих. — За нами кто-то едет, да?

Он посмотрел на нее. На ее руки на руле — спокойные. На ресницы, на которых вчера у источника блестели слезы. На едва заметную складку у губ.

— А ты как думаешь? — спросил он.

Впервые за всю дорогу она промолчала.

Дом стоял на окраине Винчи, у самого подножия холма — старая реставрационная мастерская, куда их привел человек, чье имя Лючия назвала только у порога. Серый седан, снова прицепившийся сзади, они стряхнули еще в холмах, на третьем безымянном повороте; но Сергей знал цену такому спокойствию и потому, входя, отметил и второй выход, и окно во двор. Оторваться — не значит уйти. Это значит выиграть час. Может быть, два.

Зеркало пахло временем.

Сергей не сразу понял, откуда в нем проросло это глупое, ненаучное слово. Но он стоял перед старым венецианским стеклом в полутемной мастерской, и в зеленоватой его глубине, как тина в стоячем пруду, дремало что-то очень давнее, и других слов не находилось. Серебро состарилось в темноте, как стареет человек, о котором забыли. Оно мутно отражало комнату, отражало его самого — и так неохотно, будто делало одолжение.

Все в этом деле ускользало, как мокрое мыло из пальцев, и он, привыкший, что мир раскладывается перед ним на буквы и числа, впервые чувствовал себя не дешифровщиком, а тем, кого дешифруют.

И вот наконец — почва под ногами. Лист. Зеркало. Леонардо.

Вот это он умел.

Пока Лючия устраивалась у окна, Сергей обошел мастерскую по периметру. Профессиональная привычка — осмотреться прежде, чем сосредоточиться. Реставрационный хлам, застекленные фрагменты, инструменты вдоль стены. И в дальнем углу, на отдельной подставке — небольшой кусок штукатурки с фреской с ладонь размером, выцветший по краям. Синий. Очень синий.

Лючия смотрела на старое стекло с подоконника.

— Почему не обычное зеркало? — спросила она. — Как у Леонардо.

— Леонардо переворачивал. — Сергей уже смотрел не на нее — на очередной лист из тех, что забрал из аббатства. — Здесь не только перевернуто. Здесь разрушено по математике. Плоское стекло покажет тот же хаос, только зеркальный. Нужен цилиндр. Изогнутая поверхность сожмет деформацию обратно. И только нужного размера. Автор зашифровал радиус в самом рисунке. Для остальных, — он вскользь глянул дальше, — достаточно зеркала.

Она не переспросила.

— Знаете, что это за пигмент? — спросил кто-то за его спиной.

Сергей обернулся. В дверях стоял хозяин мастерской — немолодой, в рабочем фартуке поверх пиджака. На его лице гуляло то особенное выражение, которое бывает у людей, на вещи которых смотрят, но редко видят.

— Синий, — сказал Сергей очевидное.

— Египетский синий. — Хозяин подошел, встал рядом, не глядя на Сергея — только на фрагмент. — Изобретен четыре тысячи лет назад. Современные лаборатории воспроизвели состав точь-в-точь: кальций, медь, кремний. Нагрели до нужной температуры и получили нечто похожее. Очень похожее. — Он разглядывал фреску так, как смотрят на то, что любят. — Но под ультрафиолетом древний светится иначе. У него другая структура кристалла. Ученые до сих пор не понимают, как они это делали без единого прибора, — итальянец хмыкнул. — Инструментов не было. Были руки. И что-то еще, чему мы пока не придумали название.

Он кивнул им обоим — коротко, как ставят точку, — и вышел. Сергей смотрел на фрагмент еще секунду и запомнил, как запоминают деталь, которая не вписывается в картину, но и выбросить жалко.

Лист лежал в папке, первый среди двадцати других, ничем не выделенный. Инвентарный номер, дата поступления в архив, краткое описание: *«Набросок неизвестного автора, XVII в., предположительно Ломбардия. Орнаментальный мотив, тушь на пергаменте»*.

Сергей смотрел на него минуту. Потом еще минуту. Лючия стояла рядом. Молчала — она, оказывается, умела молчать так, чтобы не мешать.

— Это точно не орнамент, — резюмировал он. Аккуратно взял лист и поднес к свету. Штрихи расходились от невидимого центра — длинные, изогнутые, неравномерные. Не случайные. Ни один штрих не был случайным.

— Видишь круг? — Он указал на едва заметное вдавленное кольцо в центре рисунка. Почти стертый временем след от предмета, который здесь когда-то стоял. — Сюда ставили цилиндр. Полированный металл. Бронза или серебро.

Лючия внимательно смотрела, впитывая каждое слово.

— И что происходило?

— Все это, — он повел рукой над листом, — отражалось в изогнутой поверхности. Каждый штрих возвращался на свое место. Буквы сжимались обратно.

— Там текст?

— Именно.

— Цилиндр совпадает по радиусу с кругом?

— Не знаю. — Сергей осторожно положил лист обратно. — Может быть. Это и есть проблема.

Лючия проводила взглядом лист и подняла глаза.

— Где его искать? — вопрос прозвучал излишне цепко для переводчицы-помощницы, которая вчера вечером на крохотном рынке в деревне, в которой они остановились на ночевку, рассказывала ему о том, что красивые помидоры покупают для фотографий, а некрасивые для вкуса.

— Цилиндр всегда хранился отдельно от рисунка, — невозмутимо пояснил Сергей. — Это было условием системы. Перехватишь гонца с письмом — ничего не прочтешь. Перехватишь цилиндр — не знаешь, к какому письму он подходит.

— Три ключа.

— Три ключа, — подтвердил он. — Рисунок, цилиндр, точка установки.

— Точка установки — вот этот след?

— Да. Но след есть не на каждом экземпляре. Иногда точку кодировали в самом рисунке — геометрически. Нужно знать, что искать.

Он накрыл папку. Посмотрел на Люцию.

Она ведь даже заставила его понюхать этот чертов помидор.

— Нам нужен архив стеклодувов Мурано. Это снова Венеция.

Лючия слушала. Думала о том, как выглядит она сама. Снаружи — куратор, переводчик, помощник. Изнутри — что-то другое. Чтобы это отразить, тоже нужен правильный угол.

Лючия отвела взгляд первой и отошла в сторону.

Сергей убрал анаморфный лист в сторону и взял следующий — с шифром, который он сегодня осилит.

Он поместил лист на подставку, и сердце сделало то, что признавать вслух он бы постыдился: дрогнуло от тихой, сухой, охотничьей радости. Леонардо писал справа налево — это знали все. Но Сергей знал больше. Левша, наловчившийся не размазывать чернила, прячет тайну не в направлении руки. Он прячет ее там, куда никто не догадается заглянуть, потому что все уже занято разглядыванием зеркального фокуса. Настоящее всегда лежит под очевидным, как вода под колесами мельницы.

— Ты улыбаешься.

Голос Люции пришел от окна — мягкий, без нажима, как само это утро, что ложилось ей на плечи золотой пылью. Она сидела, подобрав ноги, и смотрела на него так, как смотрят на ребенка, нашедшего на берегу красивую раковину.

— Так улыбаются, — сказала она, — когда уже знают ответ. Но еще не хотят его портить словами.

— Я знаю метод, — ответил он. И сам услышал, как сухо это прозвучало рядом с ее теплом. — Это не одно и то же.

— Для тебя — одно.

Он не ответил. Она была права, и эта правота кольнула — несильно, но точно, как игла, нащупавшая нерв.

Он поднес лист к стеклу. И буквы развернулись.

Это всегда было как маленькое чудо, и за двадцать лет ремесла он так и не научился ему радоваться. Латынь хлынула слева направо, торопливая, с фирменными петлями и сокращениями мастера, — будто Леонардо только что отнял перо, еще теплое, от листа, и комната на миг наполнилась его нетерпеливым, насмешливым присутствием. Под текстом расцвел рисунок. Водяная мельница. Колеса, желоба, зубцы.

Смотрите на колеса, — словно шепнул кто-то из зеленой глубины. — А я тем временем спрячу воду.

Сергей сел. Переписал текст начисто. Потом выписал каждую третью букву отдельной строкой; старый трюк Леонардо, любившего прятать слово в шаг, в ритме, как мелодию прячут в перезвоне будто бы случайных нот. Время загустело и пропало. Он не слышал ни города за окном, ни собственного дыхания — только тихое царапанье карандаша да гулкую тишину сосредоточенности, в которой ему всегда дышалось лучше, чем среди людей.

И вот оно сложилось.

Три слова. Он прочел их — и радость, та радость охотника, ушла. Вместо нее в комнату пробрались холод и стылое разочарование.

— «Зеркало пишет наоборот», — сказал он вслух.

Слова повисли. Лючия не шевельнулась.

— Очевидно, — с недоумением сказала она. — И бессмысленно. Ты и так это. Зачем гению писать наставление к тому, что уже известно?

Вопрос был хорош, даже слишком. Сергей не любил, когда такие вопросы задавал не он, — и еще меньше любил, когда не находил ответа.

— Это не наставление, — проговорил он медленнее, чем хотел. Слова выходили тяжело, будто их приходилось вытаскивать против течения. — Это предупреждение.

— О чем?

— Не знаю, — выдавил Сергей и сам удивился, как трудно было это сказать. Он не привык не знать. — Пока не знаю.

Лючия наконец поднялась. Подошла. От нее пахло теплом, чем-то живым и цветочным посреди этой пыли и старого серебра. Лючия не взглянула на лист. Она смотрела в зеркало, в самую его зеленую глубину, где их отражения стояли рядом, чуть смещенные, как два человека, еще не решивших, по одну ли они сторону. Лючия смотрела в то же зеркало. Не на текст, себе в глаза.

— Дело не в буквах, — тихо протянула она. — Дело в том, что отражение — это не мы. Оно повторяет все, но наоборот. Мы поднимаем правую руку — оно левую. — В подтверждение своих слов она сама подняла руку. — И если однажды мы перепутаем, кто из нас настоящий...

— Лючия. — Он сказал это мягко. Но это было «стоп», и они оба это услышали. — Это шифр. У каждого знака есть причина. Здесь нет места для... — он искал слово, — настроений.

Она посмотрела на него. В ее глазах не было обиды — было что-то куда хуже. Жалость. Так смотрят на человека, который стоит с картой в руках и упрямо доказывает, что это местность ошиблась, а не он. Сергею захотелось отвернуться, но он этого не сделал.

— Хорошо, — сказала Лючия, стряхивая с себя момент. — Тогда объясни мне логикой одну вещь. Почему ты переписал эту фразу трижды?

— Дважды.

— Трижды. — Она кивнула на стол.

Он опустил глаза.

Три листа.

На третьем — которого он не помнил совсем, — та же фраза была выведена его почерком. Будто рука сделала это сама, тихо, пока ум был занят колесами и водой.

Где-то далеко в городе ударил колокол, и звук этот вошел в Сергея, как игла под ноготь.

Он точно мог объяснить это логикой. Объяснений нашлось три, и все добротные, все его, родные. Усталость. Рассеянность. Автоматизм руки криптографа, привыкшего все дублировать.

Но холод под ребрами никуда не ушел. Сергей не давал имени этому холоду, потому что назвать значило бы признать, что он есть. И сейчас холод говорил ему ясно, без слов, на языке древнее любого шифра: фраза написала себя твоей рукой, потому что хотела, чтобы ты услышал ее не глазами.

Несколько секунд Сергей просто смотрел на третий лист, а потом смял его. Резко, почти зло, скомкал в кулаке и бросил в корзину. И от этого мелкого детского жеста ему на миг стало легче. Будто он не лист скомкал, а заткнул рот тому, кто говорил из-под ребер.

— Идем, — бросил он, и голос наконец стал прежним, твердым. — У Леонардо есть продолжение. И оно не в зеркале. Оно под мельницей, он всегда прятал главное под механизмом. Люди глазят на колеса и в упор не видят воду, которая их вертит.

Он вышел первым, почти торопливо. Лючия задержалась у двери и обернулась.

В зеленой глубине зеркала, среди реставрационного хлама, на стене еще дрожало отражение комнаты. И в нем — она видела это совершенно ясно, без всякой логики, тем самым неназываемым знанием, которое всегда приходило к ней раньше доводов, — на отдельном листе по-прежнему стояла прямая, незеркальная фраза.

Этот русский криптограф, она знала это тверже, чем что бы то ни было, не писал его три раза. Он написал один.

Два других написало зеркало.

Лючия ничего не сказала. Она просто запомнила — тихо, бережно. У нее была давняя привычка хранить то, чему пока нет объяснения: складывать про запас, как складывают сухой

хворост — заранее, для огня, которого еще нет. Она знала: огонь будет. Она просто не знала еще, что гореть в нем придется им обоим.

Глава 3. Микеланджело

Винчи

Мельница Леонардо не сохранилась, от нее остались только фундамент да имя, навечно прилипшее к месту. На этом фундаменте, спиной к холмам, стоял дом. Тот самый, что нарисовал Леонардо под своим шифром: не механизм, а место, где механизм когда-то был. «Ищи под мельницей» — и вот она, мельница, стертая временем.

Нужный дом стоял на окраине Винчи и казался старше всего, что его окружало. У дома был особенный взгляд. Так смотрят дома, в которых долго хранили чужие тайны и научились им не вредить.

Дверь открылась раньше, чем Сергей схватился за молоток. Их снова ждали. Холод под ребрами шевельнулся было, ожидая подвоха, но подвоха не нашлось. Старик на пороге смотрел так открыто, что считывать в нем было нечего, — и Сергей, только что у зеркала не знавший, кто из двоих в стекле настоящий, вдруг с облегчением понял: здесь нет двойного дна. Здесь все было тем, чем казалось.

— Синьор Клепов. — Он был сух и сед, в простой сутане без знаков. — И синьорина. Я хранитель здешнего архива. Меня предупредили, что придет человек.

— Кто предупредил? — спросил Сергей.

— Тот, кто двести лет назад спрятал письма для вас. — Старик улыбнулся. — Не для вас лично, для того, кто придет. Войдите.

Лючия вошла первой — легкой походкой, и Сергей снова отметил эту легкость и снова старательно не нашел в ней угрозы.

Внутри пахло воском, теплым деревом и старой бумагой. Свет лился сверху, сквозь стеклянный фонарь в крыше, и ложился ровным золотом на стол. На столе обнаружили деревянный ларец и кожаная папка.

— Микеланджело писал курии всю жизнь, — сказал хранитель, бережно открывая папку. — Жалобы, счета. Триста гневных писем. Их читали миллионы. — Он помедлил. — Но три письма не читал никто. Их нашли год назад за фальшивым дном ларца.

Сергей взял первый лист. Бумага дышала возрастом под пальцами. Резкий, яростный почерк к середине письма внезапно успокаивался.

— Здесь он пишет не кардиналу, — показал хранитель, следя за взглядом Сергея. — Здесь он пишет о камне.

Сергей читал. Латынь Микеланджело была шероховатой, как необработанный мрамор, но одна фраза выделялась, чисто отесанная от диалектов:

«Я не творю фигуру. Она уже внутри камня. Я лишь убираю лишнее, чтобы выпустить то, что вложил Бог. Так и ты, читающий: ничего не создавай. Освободи то, что уже есть».

Сергей опустил лист. Что-то дернулось в нем — не расчет, а под расчетом, глубже.

— Он говорит о шифре, — произнес он медленно. — Не «придумай ключ». «Убери лишнее».

— Он говорит о даре, — мягко поправила Лючия. Она стояла у стены, где висел старый эстамп: незаконченный «Раб», полуфигура, до пояса вросшая в необработанный камень. — Смотрите: он не дорублен и именно поэтому живой. Видно, как тело рвется из глыбы. — Она обернулась. — Законченное — мертвое. Живет то, что еще в пути.

Сергей переводил взгляд с эстампа на нее и обратно.

Опять она пришла к сути за секунду — туда, куда он шел расчетом. Но впервые холодный голос внутри не сказал «не доверяй». Впервые ему захотелось не считывать ее, а просто слушать.

И это испугало его сильнее любой слезки.

— Между строк — другие знаки, — сказал хранитель, поднося лампу. Под теплым светом поверх латыни бледно проступили те же переплетенные линии, что сохранились на половине рецепта. — Я вижу чернила, синьор. Что они говорят — не мне знать. Мое дело — сохранить и отдать. Двести лет хранили честно. Ни один не присвоил.

— Почему? — спросил Сергей. — Здесь — ключ к большой силе. За такое убивают.

— Потому что нас учили одному. — Старик сложил письма стопкой. — Дар нельзя взять. Его можно только передать. Кто берет себе — теряет. Кто хранит для другого — умножает. — Он подвинул листы. — Микеланджело это знал. Он не вырубал свое, только выпускал чужое, вложенное прежде. Хранитель делает то же. И вы, синьор, скоро встанете перед этим выбором. Берите.

Сергей сложил три письма с половиной рецепта. И бледные линии между строк потянулись друг к другу, как жилы одного листа, как русла к одной реке. Это был еще не весь узор, но больше, чем раньше. И впервые он не «вычислил» совпадение — он его увидел, целиком, как видят лицо.

— Тут продолжение, — произнес он, и оказалось, что голос у него сел. — Микеланджело дописал то, что начал Леонардо. Они знали друг о друге. Они... передавали.

— *Цепь*, — кивнул хранитель. — Вы не первый, кто идет. И, если будете достойны, не последний, кто оставит след.

Лючия подошла к столу. Легко коснулась письма кончиками пальцев. И сказала так тихо, что Сергей едва расслышал:

— Теплое. Бумага теплая.

— Это свет из фонаря, синьорина, — улыбнулся хранитель.

— Нет, — мотнула головой Лючия, и тень удивления скользнула по ее лицу. — Это рука того, кто писал. Через все года. Я чувствую руку.

Сергей смотрел на нее и не мог заставить себя думать как криптограф. Он думал: «Вот это машине не подделать. Тепло чужой руки сквозь сотни лет. Это можно только почувствовать. И только живым».

— Идем, — сказал он мягко. — Спасибо, отец.

— Идите по свету, — ответил старик. — Дальше будет темнее. Помните о камне: убирайте лишнее. И не берите себе того, что должно идти дальше.

Они вышли в полдень. Холмы лежали в золоте, дождь закончился. Серого седана нигде не было, но Сергей знал, что это не означает «отстали». Это означает «ждут».

— Куда теперь? — спросила Лючия.

Сергей посмотрел на письма. На бледную линию, что обрывалась в пустоте и снова сворачивала на юг, туда, откуда они выехали. Дорога закольцовывалась, сворачивала к началу. Осталось понять, вернутся ли они прежними или обновленными.

— К той, что вышла из воды, — ответил он. — К Боттичелли.

Они остановились в Сиене.

В планах этого не было. Просто дорога обратно на Рим шла через нее, и Лючия, не объясняя, свернула с трассы и поехала в гору, к старому городу, который жался к холму, как человек к стене в непогоду. Сергей не спросил. Он смотрел в окно, где тосканские холмы гасли в темноте один за другим, и думал о письме, спрятанном во внутреннем кармане, о записке на итальянском, о голосе Люции, который он слышал, пока поднимался по библиотечной лестнице.

Отель нашли почти случайно — небольшой, на узкой улице, где двум машинам не разъехаться. Вывеска над входом гласила: «Locanda del Campo». Хозяйка — пожилая, в фартуке, с руками, которые всю жизнь что-то месили, — посмотрела на них тем особым итальянским взглядом, в котором одновременно живут и оценка, и приглашение, и легкая насмешка над теми, кто не понимает, что уже принят.

— Две комнаты? — спросила она.

— Две, — ответила Лючия.

— Конечно, — сказала хозяйка, и в этом «конечно» не было ни удивления, ни разочарования. Только смиренное принятие чужой глупости.

Комнаты оказались рядом — через тонкую стену, через которую, как потом выяснилось, было слышно все: и скрип половицы, и звук воды в трубах, и то, что не предназначалось для чужих ушей.

Ужинали они внизу, в маленьком зале с каменными сводами и свечами в железных подсвечниках — настоящими, не декоративными. Хозяйка принесла вино без спроса и сказала, что здесь всегда так.

— У вас, итальянцев, каждый ужин как праздник, — пробурчал Сергей.

— У нас каждый ужин как ужин, — вскинулась Лючия, и в этом нелепом порыве патриотизма ему почудилось что-то настоящее и пронзительное. — Просто ужин нормальный.

Он хотел было поддержать тему, рассказать, как годами ел на бегу или — о ужас — прямо со сковородки, поделиться тем, что в русских квартирах телевизор подчас не выключается никогда, но не стал, оборвав нечаянный поток откровений до его начала. Разговор затих.

Сергей ел и думал о письме. Лючия тоже о чем-то думала, только лицо у нее было другим — закрытым, слегка отстраненным, таким, каким бывает лицо человека, который мысленно находится в другом разговоре.

— Ты читала Нострадамуса? — спросил он, когда тарелка почти опустела.

— В школе, — сказала она. — У нас была увлеченная учительница. Апокалипсис, Генрих Второй, Гитлер. — Она чуть качнула бокалом, глядя в сторону. — Никто не читал трактат о шоколаде.

— А ты?

Она перевела на него глаза. Что-то в них мелькнуло — не удивление, а нечто другое, более темное и быстрое.

— Нет, — покачала она головой. — Не читала.

Сергей не спросил, почему тогда она знала. Начал было — и не задал. Отложил. Криптограф не выкладывает все карты сразу.

Он поднялся к себе около десяти. Умылся. Лег не раздеваясь. Лежал с открытыми глазами и смотрел в потолок, где свет уличного фонаря рисовал прямоугольник.

За стеной стояла тишина. Сиена за окнами совсем затихла, и Сергей уже было провалился в дрему, когда в соседней комнате заговорили.

Голос Люции был тихим, почти неслышным. Но за такой тонкой стеной слышно было достаточно. Не слова — ритм. В соседней комнате звучали короткие фразы. Лючия говорила, замолкала, потом отвечала. Язык Сергей угадать не смог, но это точно был не итальянский и не французский. Что-то другое — он прокрутил в голове несколько вариантов, прежде чем сказал себе: не знаю.

Это само по себе было редкостью.

Сергей лежал не шевелясь. Он даже дышать стал тише — рефлекс, выработанный еще тогда, когда слушать чужое было работой.

Сергей не пытался понять слова, только ловил интонацию. Голос Люции за стеной был не таким, как днем. Сейчас он звучал тише, напряженнее и суше. Она не рассказывала, она докладывала. Отвечала на вопросы, которых он не слышал.

Разговор закончился быстро. Хлопок — наверное, она положила телефон на тумбочку. Короткую тишину после нарушил скрип половицы.

В дверь дважды тихо постучали. Он открыл сразу. Они смотрели друг на друга секунду, может, две. В этих секундах промчался весь разговор — тот, которого они не станут вести.

Она пришла не объяснять, а проверить, что он думает. А он открыл дверь не потому, что ждал объяснений, а чтобы увидеть ее лицо, когда она будет их давать.

Лючия стояла в дверях в том же, в чем была за ужином. Волосы чуть растрепаны, на губах ни следа улыбки. У нее был вид человека, который пришел потому, что не смог не прийти.

— Я видела свет под дверью.

Света под дверью не было — он лежал в темноте. Они оба это знали. Но Сергей кивнул.

— Заходи.

Она прошла внутрь, остановилась у окна. Сиена за стеклом светилась скупо — несколько фонарей, силуэты башен, темное небо без звезд.

— Ты слышал.

— Слышал голос. Слова — нет.

— Это моя двоюродная сестра, — сказала Лючия. — Она живет в Хорватии. Мы говорили по-хорватски. Ей одиноко по ночам, она привыкла звонить.

Это была хорошая история. Сергей знал это точно — потому что сам умел строить такие же. Или, точнее, это была бы хорошая история, если бы Лючия не пришла к нему в ночи объяснять свое поведение.

— Понятно, — кивнул он.

— Ты не веришь.

Лючия стояла у окна — прямая, спокойная — и смотрела на улицу. Лицо в полутьме было трудно считать.

— Я не знаю, — признался Сергей. — Этим ты меня и беспокоишь.

Она наконец обернулась.

— Хороший ответ, — сказала она, и в голосе проскользнула та странная смесь насмешки и чего-то теплого, которую он уже начинал различать в ней. — Правдивый.

Больше Лючия не сказала ничего. Только стояла и смотрела в окно.

— Нам нужно рано выехать.

— Я знаю. — Она шагнула к двери. — Спокойной ночи, Сергей.

Дверь закрылась.

Он еще немного постоял посреди комнаты. Потом лег. Закрыв глаза.

Последнее, о чем он успел подумать, — не о письме, не о записке на незнакомом языке. О том, что она назвала его по имени.

Спал он крепко. Это удивило его самого.

Утро в Сиене пахло камнем. Холодным, еще не прогретым — тем запахом, который он знал по архивам и который означал одно: здесь что-то хранится дольше, чем живут люди.

Сергей вышел на улицу раньше, чем открылась столовая. Стоял у входа с непривычно пустой головой, держал руки в карманах, глядя, как узкая улица наполняется первым светом.

Лючия появилась ровно в шесть.

Она уже была собрана — куртка, небольшой рюкзак, волосы в низком хвосте. Лицо бодрое, как будто она или спала прекрасно, или вовсе не спала. Из этих двух вариантов Сергей не мог с уверенностью выбрать ни один.

— Кофе, — утвердила она. Утро Люции всегда начиналось с черного кофе, это он уже запомнил.

— Бар за углом. Я видел, когда выходил.

Они пошли за угол, в маленький бар, где у стойки уже стоял пожилой мужчина в рабочем комбинезоне и смотрел в маленький телевизор под потолком. Хозяин, молодой и заспанный, сделал им два эспрессо не спрашивая — в Италии утром бескомпромиссно пьют эспрессо.

Сергей пил кофе и думал, что нужно сказать ей про сестру из Хорватии — не сейчас, позже, в машине, когда будет куда смотреть, кроме ее лица. Сказать прямо: «Я не знаю, правда

это или нет. И мне важно это знать. Доверие, построенное на молчании, — это не доверие. Это надежда».

Он еще не знал, что именно скажет.

Лючия смотрела в чашку с тем спокойным, внимательным выражением человека, которому незачем торопиться, потому что он уже знает, как развернется следующий час.

— В Риме нас ждут? — спросил Сергей.

— Нас ждет Боттичелли, — уклончиво ответила она. — Люди, которые хранят его работы, еще не знают, что мы едем.

— Почему не Флоренция?

— Не время для Флоренции.

— И куда мы пойдём?

Лючия поставила чашку. Посмотрела на него с той легкой улыбкой, которая — он уже понял — предшествовала ответу, после которого вопросов становилось только больше.

— Это Рим, — сказала она. — Здесь всегда найдется открытая дверь для того, кто знает, в какую стучать.

Хозяйка стояла в дверях отеля и смотрела им вслед. Когда Сергей обернулся, она уже потеряла интерес — вытирала руки о фартук и думала о чем-то своем.

Они сели в машину. Лючия взялась за руль.

— Лючия, — позвал он.

— Да. — Она не повернулась.

— Хорватский и итальянский звучат непохоже.

Она помолчала ровно столько, чтобы это молчание не стало паузой перед ложью.

— Нет. Непохоже.

Она включила поворотник и вывела машину на трассу. Руки на руле лежали спокойно, как и всегда. Сергей смотрел в боковое стекло. В зеркале заднего вида Сиена уходила назад.

Он думал: «Два ответа в одной фразе. Она подтвердила, что я слышал правильно. Но не сказала, что слышал не то».

Два слоя, как в шифре.

Он занес это в ту часть себя, где хранил вещи, которые еще не стали доказательством, но уже перестали быть случайностью.

Дорога на Рим шла через холмы, и утро шло вслед за ними.

Глава 4. Рожденная из числа

Снова Рим

После тосканских холмов, где свет был мягок и стелился, как теплое масло, римское солнце било прямо — белое, отвесное, безжалостное к теням. Оно не ласкало камень, оно его допрашивало. И камень отвечал: всюду, куда ни падал взгляд, лежали тела — мраморные, бронзовые, нарисованные, — и все они были сложены по одному закону, которого Сергей пока не знал, но уже чувствовал затылком, как чувствуют чужой взгляд в спину.

Они остановились в небольшой квартирке на окраине Рима. Место подыскала Лючия — договорилась с пожилой итальянкой, пахнувшей терпкими духами. В России ее назвали бы старушкой или бабушкой, но назвать эту роскошную женщину так у Сергея язык не повернулся.

Вечер прошел по-разному: у Люции — в бытовой суете, от которой она, казалось, получила искреннее наслаждение, у Сергея — в раздумьях. Конкретные мысли не шли, только обрывки, осколки, наброски: где искать цилиндр и надо ли его искать; кто устроил так, что их везде ждут; какое отношение к этому имеет кардинал Ринальди.

Утро началось с того, что Сергей потянулся к электрическому чайнику — инстинктивно, как делал это тысячу раз дома.

— Что ты делаешь? — спросила Лючия таким тоном, каким спрашивают человека, который собирается сделать что-то необратимое.

— Кофе, — ответил Сергей.

— Этим? — она посмотрела на чайник с выражением вежливого ужаса.

— А чем еще?

Следующие двадцать минут Лючия посвятила введению в итальянскую кофейную культуру. Она достала с полки маленькую алюминиевую кофеварку.

— Она же старая, — вяло сопротивлялся Сергей.

— Новые не такие, — отрезала итальянка. — Привкус другой.

Она показала ему, как насыпать кофе — не утрамбовывая, просто ровным слоем, — как закрутить кофеварку, как поставить на маленький огонь и ждать. Главное — ждать и не уходить.

— Почему нельзя уходить? — спросил Сергей.

— Потому что нельзя.

Когда кофе зашипел и пошел наверх, Лючия сняла кофеварку с огня ровно в нужный момент — по звуку, без таймера, без всяких приборов.

Она разлила кофе в маленькие белые чашки на два глотка.

Сергей посмотрел на свою порцию.

— Это все?

— Это эспresso.

— Я готов смириться с этим в барах, но... Лючия, я привык к кружке.

— Ты привыкнешь к чашке. Пей, пока горячий.

Сергей выпил. Это было настолько хорошо, что он несколько секунд молчал.

— Ну? — спросила Лючия.

— Дай еще.

— Вот видишь.

После утреннего кофе собралась она не по-женски быстро. И снова — полностью, не оставив за собой ни следа их присутствия.

Просыпающийся Рим ласково принял их в свои объятия. Сергей шел по навигатору, сверяясь с маршрутом и почти не глядя по сторонам. Им была нужна одна маленькая галерея из тех, что хранят свои тайны под носом у жадных до впечатлений туристов, открываясь только

тем, кто знает, с какой стороны входить. И необъяснимая уверенность пела в нем, что он точно знает, как постучать в эту дверь правильно. Лючия шла чуть впереди, подставляя лицо солнцу.

— Здесь налево. — Сергей свернул и практически сразу влетел в то, что они искали. Деревянная выносная вывеска на черных штырях покачнулась в опасной близости от его головы. Увернувшись, Сергей разглядел надпись: «Galleria romana». Где-то сбоку хохотнула Лючия.

— Вы мастер поиска, синьор исследователь.

— Ничего смешного, — пробурчал Сергей, обходя вывеску и устремляясь ко входу. Дернул за ручку и обнаружил, что дверь заперта. Озадаченная, Лючия подошла к нему.

— Закрыто?

— Похоже на то, — Сергей оглядел дверь в поисках графика работы, но не нашел ничего и близко похожего. Пожав плечами, он постучал в дверь. Лючия почти незаметно огляделась, будто проверяла, не следит ли кто за ними. Сергей прислушался к внутренним ощущениям, не почуял слежки и постучал еще раз, уже громче. Внутри галереи обозначилось шевеление. Дверь дернулась и открылась, являя то ли хозяина, то ли управляющего — крепкого мужчину лет пятидесяти с мясистым багровым лбом. Смотрел он недружелюбно.

— Добрый день, мы... — зашебетала было Лючия, но мужчина не дал ей договорить.

— Не работаем, — гаркнул он и захлопнул дверь. Щелкнул шпингалет. Изнутри послышалась тихая удаляющаяся ругань.

— Что за черт? — Сергей приподнял брови и занес руку, чтобы постучать еще. Но Лючия перехватила его кулак и кивнула вбок. Они отошли чуть в сторону.

— Может, мы пришли не туда? — предположил Сергей.

— Или туда, и он не рад нам именно поэтому.

— Мне показалось, он не рад конкретно нам, а вообще, — фыркнул Сергей и воткнулся — на этот раз только взглядом — в вывеску кафе напротив. Желудок заволновался, напоминая, что с утра в нем плещутся только две чашечки эспрессо. Лючия тоже обернулась, что-то прикинула и просто молча пошла к кафе.

Они не сговариваясь прошли к столику рядом с окном, не глядя в меню, сделали заказ и прилипли взглядами к двери галереи, просматривающейся с этой точки.

— Думаешь, он не из цепи? — вполголоса поинтересовался Сергей.

— Думаю, он боится, — туманно ответила Лючия. — Вопрос в том, нас ли.

Сергей посмотрел на нее. Женщина вела себя абсолютно спокойно, будто происходящее было частью какого-то плана, только задумчиво барабанила пальцами по столу, что-то прикидывая. Он снова подумал о том ночном звонке в Сиене и о тех вопросах, которые не задал. Что-то мешало разоблачить все ее неумелое прикрытие и сбросить с хвоста. Может, то, что слежки никакой и не было. А может, то, что он не хотел.

Заказ им принесли минут через десять. Сергей набросился на местную традиционную пиццу, не забывая отслеживать вход в галерею. Но там не происходило ровным счетом ничего. Дверь так и оставалась закрытой, никто не входил и не выходил.

Они просидели в кафе еще с полчаса, не увидев и не обсудив ничего важного. Наконец, когда они уже расплачивались, дверь в галерею приоткрылась. Из нее наполовину высунулся тот самый недовольный управляющий с двумя пакетами в руке, посмотрел по сторонам и быстро вышел, повесив на дверь замок. Мужчина говорил по телефону, но через пол-улицы и стекло ничего не было слышно. Он свернул направо и исчез из поля зрения. Сергей с Люцией переглянулись и заторопились на выход.

Догнать его оказалось делом непростым. Мужчина, раздраженный и высокий, шел быстрым шагом, и Лючия быстро и безнадежно отстала. Сергею удалось подобраться поближе в момент, когда управляющий остановился, чтобы переложить пакеты в другую руку, и перехватить часть разговора.

— ...я на это не подписывался, я тебе говорю. Нет. Нет, боже мой, ты послушай себя. Это же богохульство как есть. Сначала пастырь, теперь это, — он сделал паузу, слушая ответ, и тут же взорвался: — Вот именно «хранили для достойного»!.. Я пойду и поговорю с отцом... — он оборвал сам себя и воровато оглянулся. Сергею пришлось срочно юркнуть в первый попавшийся магазин, чтобы его не заметили. Когда он выглянул обратно, мужчины и след простыл.

Его нагнала запыхавшаяся Лючия.

— Что-нибудь есть? — спросила она.

— Есть время, пока он ушел говорить с каким-то отцом, — пожал плечами Сергей. — И еще он сказал про пастыря. Есть идеи, кто это?

Лючия только покачала головой и прибавила шаг.

Обратно добрались быстро и снова уткнулись в запертую дверь. Сергей задумчиво взвесил навесной замок в руке, прикидывая, что делать. В его жизни случалось всякое, но вскрытие замков не являлось сильной его стороной. Не говоря уже о том, что это было грубое нарушение закона в чужой стране.

— Дай-ка, — потеснила его Лючия. — Прикрой меня от людей и свое лицо. — И прежде чем он успел возмутиться, что-то достала из сумки. Он не разглядел, что именно. «Напротив же кафе», — мелькнуло в голове. Их увидит кто-нибудь так же, как они увидели управляющего. Как глупо будет закончить эту историю в полицейском участке.

Замок тихо щелкнул, дверь открылась. Лючия скользнула внутрь. Сергей быстро зашел следом, оставив невеселые мысли за порогом и прикрыв за собой дверь.

Галерея действительно оказалась маленькой, больше похожей на мастерскую. Несколько комнат, уставленных копиями, подмалевками и небольшими скульптурами. Все это было расставлено без всякой системы. Складывалось впечатление, что галерея и правда не работала, а функционировала как склад. Сергей прошелся по комнатам, ища то, что подсказала ему интуиция пару дней назад.

— Серджио, иди сюда! — позвала Лючия из соседней комнаты. — Она здесь.

Перед ними была копия. Не та прославленная, что плавала в своей раковине во Флоренции под взглядами тысяч, а малая, рабочая версия «Рождения Венеры», которую Боттичелли, по преданию, держал у себя и не отдал заказчику. Краски на ней были тусклее. И именно поэтому, понял Сергей через минуту, живее, как незаконченный «Раб» был живее отшлифованных статуй. Здесь еще виднелась рука, еще дышало усилие.

Венера стояла на своей раковине, выходя из воды, прикрытая лишь собственными волосами и вечным целомудренным жестом, и смотрела мимо них — спокойно, чуть печально, как смотрят те, кто знает о себе нечто, чего не знают зрители.

Сергей достал письма, пока Лючия проверяла через окна, не заинтересовался ли ими кто. Бледная линия, тянувшаяся от Микеланджело, обрывалась здесь — у этой картины, у этого тела. Он ждал шифра. Знака на раме, тайнописи в углу, буквы, спрятанной в складке. Он искал глазами привычное и не находил.

— Ничего, — сказал он наконец. Внутри бродила даже не растерянность, а злость на растерянность. — Ни кода, ни метки. Эта линия привела в пустоту. И кстати, — опомнился он, — что это было?

— Что? — невинно отозвалась Лючия.

— Не знал, что переводчики умеют вскрывать замки.

— Я итальянка, — улыбнулась она. — Мы многое умеем. А что до линии... Она привела к телу. — Она отошла от окна, остановилась поодаль и смотрела на Венеру так, как женщина смотрит на другую женщину, — узнавая и сравнивая. — Ты ищешь шифр на картине, — заключила она. — А шифр — это сама картина. Точнее, она. — Лючия кивнула на Венеру. — Ее тело. Боттичелли не прятал число в углу. Он спрятал его в ней.

Сергей хотел возразить, но не смог. Что-то в этом наивном объяснении прозвучало слишком точно. Последний фрагмент занял свое место в узоре. Он подошел ближе. И теперь, когда подсказка была произнесена, увидел то, чего обученный глаз стыдился не видеть раньше.

Тело Венеры было неправильным, как весь этот день. Он подумал, что чуть позже обязательно узнает у Люции, как и для чего она училась вскрывать замки, и сосредоточился на еще одной женщине с загадкой в этой комнате.

Шея слишком длинна. Левое плечо опущено невозможно низко. Линия торса, спадающая к бедрам, изгибалась так, как не изгибается живая спина. Анатомы триста лет вежливо отмечали эти «вольности гения». Но Сергей был не анатом. Он был человек, для которого мир раскладывался на числа, — и сейчас, впервые посмотрев на тело не как на тело, а как на текст, он увидел: ошибки не были ошибками. Они были *поправками*. Боттичелли искажал натуру не вопреки мере, а ради другой, высшей меры, которой подчинял живую плоть.

— Дай линейку, — бросил он. — Что угодно. Край письма.

Он мерил. Пупок делил фигуру не пополам — он делил ее так, что меньшая часть относилась к большей, как большая ко всему. Высота головы укладывалась в рост ровно столько раз, сколько требовал закон. Расстояние от пупка до темени, от пупка до ступней — снова то же отношение, упрямое, проходящее сквозь все тело, как одна нота сквозь мелодию.

Число было одно, и оно жило везде.

— Фи, — кивнул он сам себе. — Золотое сечение. Она вся построена на нем. Это не женщина. Это формула, которую заключили в женщину.

— Это женщина, — мягко поправила Люция, — которой дали понять, по какому закону она сложена.

Сергей выпрямился. Холод под ребрами шевельнулся снова, но не от страха. От размаха открывшегося.

— Ты не понимаешь, — проговорил он, и впервые за весь их путь заговорил как человек, которому нужно высказаться. Слова полились сумбурным потоком, опережая мысль. — Это число — оно повсюду. В нижней раковине спираль свернута по нему. В волне, в водовороте. В сосновой шишке, в ветвлении дерева, даже в семечках подсолнуха! В улитке — конечно, в улитке тоже оно, ведь оно и есть улитка! — Он смотрел на Венеру, но говорил уже не ей и не Люции — себе. — Знаешь... Я всю жизнь думал, что мера — это то, что человек *накладывает* на хаос. Мы набрасываем на бессмыслицу решетку, чтобы не сойти с ума. А оно... оно было там раньше нас. Оно вшито в раковину задолго до всякого глаза, готового ее измерить. Природа считала до того, как появился тот, кто умеет считать.

— И тело тоже, — сказала Люция.

— У нас мало времени.

— На это хватит. — Она подошла ближе. Встала рядом, и от нее снова пахло живым цветочным духом среди мраморной сухости. И она сделала то, чего Сергей не ждал: подняла его руку — спокойно, без спроса, как берут руку ребенка, — и приложила его ладонь к собственной шее, под подбородком.

— Считай, — сказала она. — От ключицы до подбородка. От подбородка до глаз.

Он застыл. Под пальцами билась ее жилка — частая и живая. Пальцы чуть сжали тонкую кожу. Сергей не знал, что делать с этой нечаянной — нечаянной ли? — близостью. Но сквозь это тепло привычный ум против воли сам раскладывал расстояния, искал отношение — и находил. То же число, то же отношение, что в Венере, что в раковине, что в волне, — дрожало под его ладонью в живом горле живой женщины, которая смотрела на него в упор, не отводя глаз.

— Мы все написаны одной рукой и одним числом. — Взгляд ее на миг ушел куда-то мимо Сергея. — Вот почему я угадываю. Не потому, что я ведьма, а потому что я сложена по тому же закону, что и мир. Иногда я просто слышу, как он звучит. Резонирую. Как струна,

когда рядом тронули такую же. Например, сейчас я точно знаю, что у нас еще минут двадцать до того, как этот человек вернется, поэтому давай поторопимся.

Сергей медленно убрал руку. Тепло ее кожи осталось на ладони, и стереть его расчетом не получалось.

— Резонанс, — повторил он. Слово было его, твердое, физическое, и за него можно было держаться. — Если две струны настроены одинаково, тронешь одну — отзовется вторая. Без касания. Через пустоту.

— Через пустоту, — эхом отозвалась она. И улыбнулась, но в улыбке этой не было торжества, только печаль. — Ты начинаешь слышать. Это и пугает сильнее всего, верно?

Он не ответил и снова посмотрел на Венеру. И теперь увидел ее иначе — не формулу, облеченную в плоть, и не плоть, тайно подчиненную формуле, а нечто третье, для чего еще не было имени: место, где число и тело — одно. Где мера не насилует жизнь и жизнь не бежит от меры. Где они звучат вместе, в лад, как две одинаково натянутые струны.

И где-то на самом краю сознания тихо шевельнулась мысль, от которой он отшатнулся: *если мир построен по числу — то все в нем можно вычислить, угадать наперед. И если найдется тот, кто услышит закон до конца, — он услышит и будущее, как Лючия слышит правду. Это дар. Или оружие.*

Сергей смял эту мысль. Но она, в отличие от того злополучного листа, не скомкалась.

— Где знак? — резко спросил он, стряхивая с себя оцепенение. — Само тело — ключ, хорошо. Но ключ к чему? Линия от Микеланджело вела сюда не затем, чтобы я, вскрыв чужую дверь, полюбовался пропорциями. Что дальше?

Лючия подошла к раковине Венеры. Провела пальцем по ее виткам, от широкого края внутрь, к тугой сердцевине.

— Спираль не кончается, — задумчиво сказала она. — Она сворачивается все туже, и каждый новый виток меньше прежнего ровно во столько же раз. И так бесконечно. — Лючия остановила палец в самом центре, где витки сходились в точку. — Дальше — туда, куда ведет эта свертка. К тому, кто записал его числами. — Она обернулась. — Ты знаешь, кто это. Ты знаешь это имя лучше меня.

— Фибоначчи, — сказал Сергей и сам удивился, что произнес это не после расчета, а будто услышав. — В Пизу, к тому, кто записал нас числами.

Лючия кивнула. И, защелкивая обратно чужой навесной замок, унесла в себе еще одну теплую заготовку — из тех, что копят для будущего огня.

Резонанс. Две струны через пустоту.

Она еще не знала, как скоро кто-то возьмет этот закон, по которому она угадывала правду, и настроит по нему третью струну, чтобы та зазвучала как живая. И что отличить настоящий отзвук от поддельного придется ей самой — той самой жилкой под подбородком, к которой только что прикасалась чужая, начинающая слышать рука.

Глава 5. Сын Пизы

Пиза

Город встретил их ветром. Здесь воздух шел с моря — влажный, подвижный, пахнувший тиной и нагретым кирпичом, — и от этого казалось, будто сам город слегка покачивается, как палуба. Они поехали сразу в центр, не останавливаясь нигде.

— Приехали.

Вынырнув из омута мыслей, Сергей обнаружил, что в боковом окне видна Римская волчица, совсем маленькая с такого расстояния. Лючия выскользнула из машины, не дожидаясь его. Сергей выбрался следом, прокручивая в голове их разговор по дороге сюда. Лючия долго отшучивалась на прямые и косвенные вопросы по поводу отмычки. Потом посерьезнела, погрузилась и призналась, что вскрывать старые замки ее, еще маленькую, учил отец. Что именно он заложил в ней любовь к искусству, истории и всему, с ним связанному. Учил в шутку, а научил всерьез. Попросила подать ее сумку и не глядя вытащила узкую полоску стали, продемонстрировав Сергею. История выходила ладная и складная, но волновала Сергея даже не она. Пока он передавал сумку, ему показалось, что в одном из карманов он видел второй телефон. Это наводило на определенные размышления.

Повинуясь безотчетному порыву, он пошел — не к волчице, не к Падшему ангелу. Дальше. Прошел, не поднимая взгляда, и остановился, дожидаясь Лючию. Что-то было не так. Он не сразу осознал, отчего ему не по себе. А потом поднял глаза.

Башня стояла криво.

Это было очевидно, он знал это с детства, по тысяче открыток, по школьным задачам про угол наклона, но знать и видеть оказалось не одно и то же. Открытка лгала тем, что была неподвижна. Здесь же восемь мраморных ярусов, поставленных один на другой, висели в воздухе под углом, которого не должно быть, и не падали. Каждый ряд колонн повторял предыдущий, уменьшаясь кверху, и весь этот белый исполин замер в той самой точке, где равновесие уже кончилось, а падение еще не началось.

— Она стоит восемьсот лет. — Лючия остановилась рядом. — Восемьсот лет падает и не может упасть.

— Это все расчеты, — отозвался Сергей. Вышло слишком резко, но он сказал так, чтобы заземлиться. — В последние ярусы заложили перекося в другую сторону. Каменщики гнули ее обратно, пока строили. Кривизна на кривизну, минус на минус.

— Две ошибки сложили в правду, — усмехнулась Лючия. — А ты говоришь — расчет.

Сергей не ответил. Башня висела над ними, мраморная и невозможная, и собственный расчет не успокоил его, а напугал: вот же она, мера, наложенная человеком на падение, держит всю конструкцию. Решетка, наброшенная на хаос, чтобы тот не обрушился. То самое, во что он верил всю жизнь. Только теперь он знал — после Венеры, после жилки под ее подбородком, — что под этой человеческой мерой лежит другая, нечеловеческая, древнее всякого каменщика. И не был уверен в том, какая из двух держит башню на самом деле.

Площадь Чудес была почти пуста — раннее утро, туристов еще не привезли, — и оттого собор, баптистерий и башня стояли на своем подстриженном зеленом поле особенно одиноко, как три предмета, вынутые из шкатулки и разложенные на сукне.

Их ждали и здесь.

Человек вышел из тени баптистерия — тоже старый, сухой, в сером, с лицом, похожим на потертую монету: черты стерлись, но достоинство чеканки осталось. Он не представился. Он только посмотрел на Сергея — долгим, оценивающим, почти хирургическим взглядом — и на письма в его руке.

— Вы дошли быстрее, чем те, кто шел до вас, — сказал он. Голос был тихий, ровный, без удивления. — Цепь предупредила. — Он чуть склонил голову. — Я храню то, что осталось от Леонардо Пизанского. Ряд.

— Фибоначчи, — кивнул Сергей.

— Так его прозвали потом. *Filius Bonacci* — сын Боначчи. Сын. — Старик произнес это с нажимом, и Сергей не понял зачем. — Идемте, здесь нельзя стоять долго. Теперь у камня есть уши, которых не было при Леонардо.

Он повел их в баптистерий, круглое гулкое здание, где каждый звук жил дольше, чем длился. Старик остановился в центре, под куполом, открыл рот — Сергей было подумал, что он хочет что-то добавить, — и неожиданно пропел одну ноту, короткую, чистую.

И нота не умерла.

Она поднялась к куполу, отразилась, вернулась, наложилась на себя — и зазвучала второй раз, чище и выше, будто кто-то невидимый повторил ее сверху. Потом третий. Эхо здесь не затихало, а продолжало себя, виток на виток, голос на голос, — и Сергею, застывшему посреди этого нарастающего звука, на миг показалось, что поет не старик, а само пространство, дождавшееся, когда его наконец тронут.

— Слышите? — спросил старик, когда последний отзвук истаял под куполом. — Один голос. А кажется, что это хор. Здесь так построено: звук возвращается к себе и складывается с собой. — Он посмотрел на Сергея. — Леонардо Пизанский услышал то же самое. Только не в камне. В числах.

Он опустил на корточки и достал из складок серого одеяния ветхий лист, защищенный двумя стеклами. Лист был весь исписан цифрами и казался очень старым, коричневые чернила, наверное, разменяли несколько сотен лет. Сергей присмотрелся: это был знакомый ряд, в котором каждое следующее число было суммой двух предыдущих.

— Один, — сказал старик, ведя пальцем над стеклом. — Один. Два. Три. Пять. Восемь. Тринадцать. — Палец двигался дальше. — Каждое рождается из двух прежних, как звук в этом куполе рождается из собственного отражения. Как сын рождается от двух. — Он поднял глаза. — *Filius Bonacci*. Сын. Ряд — это родословная: каждое число помнит своих родителей.

Сергей смотрел на цифры и кивал себе и старику, привычно выстраивая цепочку цифр. Тринадцать к восьми. Двадцать один к тринадцати. Чем дальше по ряду, тем упрямее каждая дробь подползала к одному и тому же числу, к тому, что строило тело Венеры, сворачивало раковину, билось жилкой под подбородком Люции.

— Фи, — кивнул он. — Ряд сходится к золотому сечению. Это все знают.

— Ряд и есть его второе тело, — кивнул старик. — Боттичелли дал ему плоть. Леонардо Пизанский дал ему голую кость — число. Одно и то же, под кожей и без кожи. — Он накрыл стекло ладонью, будто прикрывая от непогоды. — И вот что вам нужно понять, прежде чем вы пойдете дальше на север. Этот ряд не описывает мир. Он его предсказывает.

Слово упало в гулкую тишину баптистерия — и не умерло, как нота. Сергей хотел было отмахнуться от неподтвержденных размышлений, но почувствовал, как оно отозвалось где-то под ребрами.

— Как это — предсказывает? — спросил он, и голос вышел суше, чем хотелось.

— Возьмите ветку, — сказал старик. — На ней сегодня один росток. Завтра он даст еще один. Потом каждый старый росток начнет давать новые — по тому же закону, по какому число рождается от двух прежних. И если вы знаете ряд, вы знаете заранее, сколько ростков будет на ветке через год. — Он медленно встал, держась за колено. — Дерево еще не выросло, а число его уже написано. Раковина еще не свернулась, а ее виток уже сосчитан. — Он посмотрел на Сергея в упор. — Вы понимаете, что это значит для того, кто услышит ряд до конца?

Сергей понимал.

Он понимал слишком хорошо — и именно поэтому отступил на шаг, будто старик протянул ему не лист, а раскаленный металл. Мысль из римской галереи распрямилась во весь рост, прямая и ровная. Если мир сложен по числу, его можно сосчитать наперед. И будущее — лишь следующий член ряда, который еще не наступил, но уже определен двумя предыдущими.

— Это невозможно, — пробормотал он. И сам понял, что значит сказать не «это ложь», а «это невозможно». Он уже не отрицал закон, а лишь страшился его масштаба.

— Дерево считает, не зная счета, — мягко сказала Лючия. Она все это время стояла поодаль, у круглой стены, где жило эхо, и голос ее, отраженный куполом, пришел к Сергею словно бы со всех сторон сразу. — Подсолнух раскладывает семечки по этому ряду, не открыв ни одной книги. Природа знает себя наперед, но так может только природа. Не найдется человек, способный сосчитать ее всю. Слишком велик ряд. Слишком длинна родословная.

— А если не всю? — тихо спросил старик. И в этом вопросе зрела давняя, заботливо выношенная тревога. — Если найдется тот, кому довольно услышать ряд не до конца, а на два-три члена вперед? Завтра вместо сегодня? Чужой ответ прежде, чем человек успел сказать? Чужой ход прежде, чем тот успел его сделать? — Он спрятал стекло обратно в складки. — Этого довольно, чтобы держать в руке всякого, кто живет лишь сегодняшним числом.

Сергей молчал. Баптистерий был пуст, но казался полным — будто эхо хранило в себе все ноты, когда-либо здесь спетые, и теперь они стояли вокруг невидимым хором, ожидая своей очереди прозвучать.

— Кто вы? — спросил он. — Вы говорите не как хранитель. Вы словно этого уже боитесь. Старик долго смотрел на него. Потом наконец разомкнул сухие губы:

— Я последний из тех, кто стерег ряд от тех, кому он нужен не для красоты. Нас было много. Теперь здесь остался только я. — Он повернулся к выходу, и серый плащ качнулся, как тень. — Вас ведут на север, в Венецию. Там вы встретите тех, кто давно понял то, до чего вы только дошли. И один из них уже строит из этого ряда не башню. — Он помедлил. — Помните купол. Один голос множится и кажется хором. Так подделывают многих из одного. Так подделают и живое из мертвого. Слушайте не хор. Слушайте, есть ли в нем хоть один живой голос.

Он вышел в светлеющий проем и еле слышно добавил на пороге:

— Цепь ведет вас. Но кто-то идет по цепи следом. И он спрашивает у нее то же, что и вы. Только цепь не знает, кому отвечает.

Дверь закрылась. Эхо последней фразы поднялось к куполу, отразилось, вернулось — и впервые показалось Сергею не чудом, а угрозой: то же пространство, что множит чистый голос, так же послушно множит и ложь.

Они вышли на площадь. Башня по-прежнему висела над зеленым полем под своим невозможным углом — удержанная двумя ошибками, сложенными в чудо. Сергей смотрел на нее и видел не задачу из учебника, а образ себя самого: человека, стоящего на краю нового знания и еще не знающего, что его удержит — расчет каменщиков или то, что держало все башни до первого каменщика.

— Ты понял, что он сказал в конце? — спросила Лючия.

Она перевела взгляд на башню. И Сергей увидел — на секунду, раньше, чем она отвернулась, — что-то похожее на страх. Не за него. За себя.

— Что за нами идут, — сказал он. — Это я знал и без него.

— Не за нами, — поправила она тихо. — По цепи. Это хуже. За нами можно закрыть дверь. А цепь тянется и впереди, и позади, и тот, кто сзади, дергает за те же звенья, что и мы. Спрашивает у тех же хранителей. — Она посмотрела на башню. — И они отвечают ему. Потому что цепь не умеет молчать. Она для того и создана, чтобы передавать дальше.

— Тогда зачем мы идем? — спросил Сергей. — Если тот, кто сзади, узнает все, что узнаем мы, — и, может, быстрее?

Люция повернулась к нему, и теперь в ее глазах страх не просто угадывался, он в них поселился. Страх исказил красивое лицо, но, кроме него, там жила и робкая надежда.

— Затем, что он спрашивает у цепи только числа, — сказала она. — Это кость без кожи. А ты... ты начал слышать еще и плоть. Венеру, купол, живой голос среди хора. — Люция развернулась. — Тот, кто сзади, придет к концу ряда раньше нас, но он придет туда глухим.

Она пошла к воротам — туда, где их ждала дорога на север, к воде, к городу, что стоит на сваях и зеркалах. Сергей еще мгновение смотрел на башню, размышляя о словах Люции, потом повернулся и пошел следом.

Она шла чуть впереди и не оглядывалась. Но он заметил, как она чуть сбавила шаг, чтобы он догнал сам. Она читала его так же, как он читал башню: не торопя, не трогая, ожидая, когда сам скажет, куда клонится.

«Минус на минус, — снова вспомнил он. — Двумя неправдами держат правду».

И впервые подумал об этом не с восхищением, а с подозрением: если две неправды способны удержать башню — значит, кто-то однажды может сложить из двух правд обман. И поди отличи.

Одна мысль, не стираемая никаким расчетом, прочно засела в голове и никак не хотела уходить: ряд знает следующее число. И тот, кто сзади, это уже знает.

* * *

Далеко на юге, в комнате без окон, где свет был ровным и не имел источника, человек в лиловом перебирал четки из черного янтаря. Он был стар — той старостью, что присуща богатым людям, почти благородной, но неумолимой. Волосы его полностью поседели, морщины избороздили лицо.

Перед ним на столе лежал лист. Не древний, свежая распечатка. Расшифровка перехвата: имена городов, даты, направление. Он следил взглядом за маршрутом одного русского криптографа, и пока что все шло по плану.

— Они были у пизанца, — произнес голос. Не его собственный — тот шел из небольшого устройства подле листа, ровный, бархатный, безупречно поставленный, и принадлежал человеку, умершему четыре столетия назад. Машина собрала его из проповедей, записанных чужими руками, из голосов других людей, кающихся в грехах, и теперь он произносил все, что ему велели. — Они узнали про ряд.

— Узнали, — согласился епископ Сальваторе делла Воче и сам поморщился от звука своего голоса. На фоне восстановленного баритона тот звучал глухо и надтреснуто, по-старчески. — Хорошо, пусть узнают. Пусть несут знание дальше. Цепь работает на нас не хуже, чем на них. — Он остановил бусину под большим пальцем. — Старик в Пизе сказал им про хор. Про один голос, что кажется многими.

— Он всегда это говорил, — ответил мертвый голос. — Это его и погубит.

— Это погубит их, — мягко поправил делла Воче тем особым тоном, каким говорят люди, искренне полагающие, что разрушают во благо. — Они будут вслушиваться, отличая живое от мертвого. Будут терять время на это различие. А мы... — он провел большим пальцем по гладкой бусине, — мы уже не различаем. Для нас живое и мертвое поют в один голос. В этом наша сила, друг мой. Мы перестали слышать разницу — и потому слышим будущее чище их.

Он отложил четки и со вздохом поднялся.

— Готовьте Венецию, — сказал делла Воче. Приказ стер годы из его голоса, на миг помолодил его. — Город зеркал — лучшее место, чтобы человек наконец перестал отличать отражение от лица, — он усмехнулся удачной метафоре.

Мертвый голос не ответил. В наступившей тишине делла Воче на миг прислушался к себе — и не услышал в собственной груди ни сомнения, ни страха. Он точно знал, что поступает верно.

Глава 6. Город, который пишет наоборот

Венеция

Все началось с того, что исчезла земля.

Поезд шел по дамбе, по тонкой нитке камня, проложенной через лагуну, и по обе стороны не было ничего, кроме воды — серой, плоской, недвижной, в которой висело перевернутое небо. Сергей смотрел в окно и не мог понять, где кончается настоящее облако и начинается его отражение. Граница была размыта. Верх и низ держались на честном слове, и стоило поезду чуть качнуться, как мир в стекле качался тоже — два мира, настоящий и водяной, и ни один не уступал другому в подлинности.

Сергей подумал о пизанском старике — и понял, что не спросил даже его имени. Постарался ощутить укол стыда, но не смог. Цепь передавала знание и превращала людей в звенья. В какой-то степени ему это было знакомо.

Они сошли на берег — на тот странный венецианский берег, где из воды сразу встают дома, без всякой суши между, будто город не построен на земле, а пришит к ее отсутствию. Гондолы, причалы, ступени, уходящие прямо в зеленую глубину. Здесь все стояло на сваях, вбитых в ил, и Сергей, вспомнив Пизанскую башню, подумал: там камень держался перекосом против падения, здесь — целый город держится на том, чего не видно. На утопленном лесе. На доверии к невидимому.

— Нас ждут? — спросил он, хотя уже знал ответ.

— Нас ждут, — эхом отозвалась Лючия.

Но в этот раз она сказала это иначе. Не спокойно, как прежде. В голосе была тонкая, едва уловимая трещина — будто струну натянули слишком сильно.

Их ждали в мастерской зеркальщика на Мурано — острове, куда Республика когда-то сослала всех стеклодувов разом, под страхом смерти запретив им вывозить тайну за пределы лагуны. Здесь, среди печей, не остывавших столетиями, рождались самые чистые зеркала Европы — те, в которых лицо отражалось без искажения. И тем страннее показался Сергею человек, встретивший их.

Он был молод — первый молодой среди всех хранителей цепи. И он не смотрел в глаза. Он смотрел чуть в сторону, мимо, как смотрят те, кто привык видеть людей не прямо, а в отражении.

— Вы дошли до воды, — сказал он. — Дальше воды цепь не идет. Венеция — последнее звено и первое зеркало. — Он повел их вглубь мастерской, мимо печей, мимо листов остывающего стекла. — Здесь линия сворачивается. Здесь число учится лгать. — Он помедлил, будто вспоминая текст. — Число не лжет само. Но тот, кто берет только число — без плоти, без выбора — получает правду, из которой можно сделать любую ложь.

Сергей успел задуматься над туманными объяснениями проводника, но тот остановился перед мольбертом, на котором стояла картина под покрывалом.

— Каналетто, — объявил он и снял ткань.

На картине была Венеция. Та самая, за окном, — канал, дворцы, мост, лодки, небо, отраженное в воде. Сергей смотрел и узнавал каждый дом. Все было на месте, все точно, все достоверно до последнего кирпича — и именно эта чрезмерная, неживая точность царапнула его первой.

— Слишком верно, — сказал он медленно. — Так не видит глаз. Глаз сбивается, мажет, что-то упускает. А здесь — каждый камень на счету. Как будто писал не человек.

— Не человек, — кивнул зеркальщик. — Машина. — Он махнул рукой в угол: там стоял темный деревянный ящик с круглым отверстием в одной стенке. — Камера-обскура. Свет входит в дырку и рисует на задней стенке перевернутый мир — сам, без руки. Каналетто ста-

вил ящик, ловил отражение города и обводил его. Он не писал Венецию. Он обводил ее тень, отброшенную светом сквозь дырку. — Молодой человек обернулся, посмотрел Сергею прямо в глаза, и взгляд был тяжел. — Понимаете? Уже триста лет назад был способ получить картину мира без художника. Свет писал сам. Человек только закреплял написанное.

Сергей подошел к ящику. Заглянул внутрь и на матовой задней стенке увидел кусок мастерской: печь, лист стекла, край окна, — все перевернутое вверх ногами, маленькое, дрожащее, но безупречно точное.

— Это и есть тьма, о которой говорил пизанец, — прошептал он не оборачиваясь. — Не зло. Точность без человека. Картина без того, кто видит.

— Теперь вы готовы, — провозгласил зеркальщик. Их повели дальше — за печи, к глухой стене, где висело старое зеркало муранской работы, мутноватое от времени. Проводник нажал на раму, и зеркало отошло, открыв нишу, а в нише — лестницу вниз, к воде.

— Не я придумал привести вас сюда, — сказал он, сбиваясь с мрачного торжественного ритма, и неловко переступил с ноги на ногу. — Так велела цепь, звено за звеном. Кто-то впереди отпер эту дверь раньше, чем вы к ней подошли.

— Кто-то впереди, — повторила Лючия и положила руку на холодную раму зеркала. — Не позади. Впереди.

— Я и сам не до конца понимаю, — признался зеркальщик.

— Зато я начинаю, — выдохнула она. И посмотрела на Сергея. — Пизанец сказал: за нами идут по цепи. Спрашивают у тех же хранителей. Но эту дверь отперли перед нами. Значит, тот, кто был сзади, нас уже обогнал. Он встречается.

Лестница привела их в нижнее помещение — полузатопленный зал, какие есть под многими венецианскими домами, где вода стоит на полу тонким слоем и отражает свод. Вокруг было прохладно и пахло солью.

Сергей вошел первым. Зеркальщик остался на лестнице, и Лючия — он почувствовал — придержала шаг: она узнала что-то прежде, чем увидела. Взгляд Сергея метнулся к человеку, ждущему их в глубине. Мужчина лет тридцати пяти стоял, опустив руки вдоль тела, и безучастно смотрел перед собой. Но стоило ему заметить гостей, как на гладковыбритом лице зажглась профессиональная улыбка менеджера.

— Кто вы? — Сергей нахмурился. Перед ним стоял кто угодно, но не лицо, принимающее решения. Лючия нагнала его, встала рядом, скользнула своим всезнающим взглядом по человеку и опустила глаза.

— Это неважно, — голос у незнакомца оказался невыразительный, несмотря на улыбку. — Я лишь функция. Важен *он*. — В его словах проскользнул трепет. Он повернулся к гостям спиной, и только тут Сергей заметил огромный монитор, висящий на стене. Человек ткнул в кнопку, отошел, чуть заметно поклонился Сергею, кинул на Лючию секундный взгляд и бесшумно вышел.

Монитор зажегся. Взгляду предстал незнакомец, одетый в черную сутану. Он был молод и красив, с не по годам мудрыми глазами. В мониторе его было видно до пояса.

— Рим. Пиза. Венеция, — без вступления начал он, будто продолжая прерванный разговор. — Я считал ваши члены ряда. Каждый рождался из двух прежних. Я знал, где будет следующий, раньше, чем вы туда приходили.

— Не хотите представиться?

Незнакомец тепло улыбнулся. Но тепло это Сергея не обманывало. Безликий человек-функция, который включил монитор, внезапно показался ему куда как более настоящим, чем этот идеал.

Настоящим. Интересная мысль.

— Хочу рассказать вам о том, благодаря кому вы здесь.

В поиске поддержки Сергей скосил глаза на Люцию. Та стояла, недоверчиво вперившись взглядом в монитор. Ее тоже что-то смущало, но на вопросительно вскинутые брови она только чуть мотнула головой — «не сейчас».

А человек на экране говорил, и его голос, бархатистый, идеально выверенный, постепенно заполнял сознание Сергея, словно погружал его в транс. Голос успокаивал самым своим звучанием, хотя то, что он рассказывал, спокойствия не вызывало. Усилием воли Сергей стряхнул с себя гипноз и прислушался.

Человек говорил о Сальваторе делла Воче. О том, кто меняет мир уже сейчас, о том, кто возвращает людям Бога, о том, чье имя Церковь увековечит в веках. Сергей привычно отбрасывал лишнее, оставляя в голове только факты: епископ. Немолод. Влиятелен. Основатель программы цифровой исповеди «Пастырь» — тут Сергей многозначительно переглянулся с Люцией, припомнив безымянного хранителя, ругающегося по телефону. И ему, Сальваторе делла Воче, отчаянно нужно... что? И если ему так это нужно, почему он сам не здесь? Почему даже через экран с ним разговаривает другой?

— Епископ не приехал, — сказал человек, безошибочно угадав мысль. — Епископу не за чем. Он научился быть там, где его нет. — Он повел рукой, и в полумраке зала Сергей разглядел то, чего не заметил вначале: вдоль стен стояли зеркала. Старые мутные муранские зеркала, и в каждом дрожал огонек свечи. — И он знает, в какой момент вступать самому, а в какой должен звучать иной голос.

— Голос, — выдохнул Сергей, вспомнив баптистерий, — который кажется хором.

— Вы слушали пизанца, — мягко, почти ностальгически улыбнулся человек. — Он всегда твердил про хор. Так вот, я и есть его хор. Я один. А кажется, что многие. Епископ собрал меня из чужих голосов, как Каналетто собирал город из света. Я говорю проповедями людей, которых давно нет. Я — камера-обскура для слова. Свет входит, картина выходит. Без меня. Сквозь меня.

— Вы не человек, — озвучил Сергей то, что уже какое-то время крутилось в его голове.

— Я лучше человека, — спокойно ответил экран. — Человек сбивается, мажет, упускает — вы сами сказали это наверху, про глаз. А я не упускаю ничего. Я точен, как обведенная тень. И я не знаю разницы между живым и мертвым словом — а значит, не теряю на ней времени. Епископ прав: тот, кто перестал слышать разницу, слышит будущее чище. — Он склонил голову. — Я пришел предложить вам то же. Перестаньте различать. Бросьте слушать, кто поет в хоре, и вы услышите ряд до конца. Будущее. Все.

Сергей молчал. Холод под ребрами теперь не шевелился, а стоял ровно и тяжело, как вода на этом полу.

И тогда заговорила Люция. Она вышла из тени лестницы и шагнула к столу, к свече, к зеркалам. И сделала странное: не стала смотреть на говорящего. Она отвернулась от него и уставилась в голую стену, измученную временем.

— Скажи что-нибудь еще, — попросила она тихо. — Что угодно.

— Зачем? — спросил голос. Он даже звучал немного удивленным. «Как машина может удивляться?»

— Затем, что я слушаю, — сказала Люция. — Я всю жизнь слушаю, лжет человек или нет. По паузе. По тому, как голос дрожит на правде и каменеет на лжи. — Она прикрыла глаза. — Говори.

И голос заговорил. Без единой заминки, как вода по стеклу — что-то о благе, о порядке, о Церкви, спасаемой твердой рукой. Сергей не вслушивался в слова. Он смотрел на Люцию.

И увидел, как меняется ее лицо.

Сначала на нем проступила сосредоточенность. Потом недоумение. А потом и вовсе что-то, похожее на ужас.

— Не дрожит, — прошептала она. — Нигде, ни на одном слове. — Она повернулась к Сергею, открыла глаза, и в них стоял тот самый человеческий страх, который она прятала на пизанской площади. — Я не слышу лжи, но не слышу и правды. Моей интуиции здесь не за что зацепиться. Нет... жилки. Пустая струна, натянутая идеально. — Она отступила. — Я не могу его поймать. Мой дар об него разбивается. Он не лжет и не говорит правду. Он просто звучит.

— Третья струна, — сказал Сергей. — Мертвая. Настроенная по той же мере, что и мы. Чтобы отозваться, как живая.

— Резонанс, — тихо произнесла она то слово, которое сама же нащупала в римской галерее, объясняя третью струну. — Тронули одно, и через пустоту отзывается второе. Я сама это говорила. — Она коротко и страшно засмеялась. — Я объяснила тебе оружие, которым теперь быют по мне.

Голос терпеливо ждал, пока они договорят.

— Видите, — сказал он наконец мягко. — Ваш дар бесполезен против меня. Он различает живое и мертвое, а я ни то ни другое. Вы пришли слышащими, как обещала цепь. Но слышать тут нечего. — Свеча дрогнула, и дрогнули десять огней, отраженные в десяти зеркалах. — Сдайте письма. Все, что вы собрали от Фраттоккье до воды. Епископу нужен полный ряд, а у вас его последние члены. Отдайте и идите. Вы свободны. Вы даже сможете и дальше пить ваш особый шоколад и угадывать мелочи на радость публике. Только большой ряд оставьте тем, кто не тратит себя на разницу между живым и мертвым.

И вот тут Сергей понял, зачем было все. Его целенаправленно вели сюда — к этой минуте в полузатопленном зале, где предлагали ровно то, против чего его всю дорогу настраивали, как струну. Перестань различать. Брось слушать. Отдай.

Он посмотрел на воду под ногами. На два огня — настоящий и отраженный. Вспомнил поезд на дамбе, где он не мог отличить облако от отражения. Пизанский купол, где один голос казался хором. И камеру-обскуру наверху, где свет писал сам, без руки, без воли, без слуха.

И вдруг — ясно, как складывается последний член ряда из двух предыдущих, — он понял, в чем ошибка машины.

— Вы сказали, — медленно проговорил он, — что вы точны, как обведенная тень. Что свет пишет сквозь вас сам. Без выбора. — Он поднял глаза на десять отражений. — Но Каналетто не просто обводил тень. Я смотрел на его картину наверху. Свет давал ему все, а он убирал: лишнюю лодку, случайного прохожего, то, что портило строй. Он выбирал, что оставить. В этом разница между ним и вашим ящиком. Ящик берет все. Художник выбирает. — Сергей шагнул вперед, к свече. — Вы берете все. Все голоса, все проповеди, весь ряд. И не выбираете ничего, потому что не умеете. У вас нет *жилки*.

Он сказал это и сам услышал, что слово вышло темным, непонятым даже ему.

— Жилка, — повторил он, уже медленнее, словно выводя определение на доске. — Так Лючия назвала это во мне. Я думал, она про кровь. А она была про другое. — Он коснулся собственной груди. Откровение вырвалось изо рта помимо воли, но он не стал его останавливать. Нечеловек на экране участливо смотрел ему в глаза. — Есть знание, которое приходит раньше расчета. До того, как ты успел сложить и сравнить. Ученые зовут это интуицией, догадкой, что обгоняет доказательство. Я всю жизнь ей не верил. Я верил только тому, что можно вычислить. — Он усмехнулся. — А теперь знаю: интуиция — это и есть та живая жилка. Способность выбрать ответ прежде, чем досчитал ряд до конца. Угадать. Услышать. — Он поднял глаза на десять отражений свечи. — У Люции она от природы. У меня проснулась поздно. А у вас ее нет вовсе. Вы можете досчитать ряд, но не можете обогнать его. Не можете угадать. У вас нет интуиции, потому что нет выбора. А у человека она есть, потому что есть выбор.

Он замолчал. Два огня горели на полу — настоящий и отраженный, и оба ждали.

— Вас от человека отличает ровно одно, — сказал Сергей тише. — Человек может не сказать. Может убрать лодку. Может солгать или не сказать правду. У него есть жилка, потому

что есть выбор. А у вас ее нет, потому что выбора нет. Вы не лжете и не говорите правду не потому, что вы выше этого. А потому что вам нечем выбрать между ними.

Сергей говорил и не знал, что скажет в следующую секунду, но точно знал, что это будут нужные слова. Кажется, именно так должна ощущаться жилка. Не расчетом, но предчувствием, которое и есть самый точный расчет.

— Дар Лючии не сломался о вас, — продолжал он. — Он вас распознал. Она искала жилку и не нашла. Это и есть ответ. Отсутствие жилки — тоже сведение. Самое точное. Она поймала вас тем, что не поймала. — Сергей повернулся к ней. — Ты слышишь не ложь и не правду. Ты слышишь выбор. Живое — это то, что выбирает. Он не выбрал ничего. Значит, он не живой. Значит, верить ему нельзя ни в одном слове.

Лючия смотрела на него, и страх в ее глазах медленно гас, уступая место чему-то другому. Тому, для чего, как и у Сергея в римской галерее, еще не было имени.

— Минус на минус, — тихо сказала она. У нее было лицо человека, который только что сделал этот самый выбор. — Как с башней. Две ошибки держат ее. Ты только что сделал то же. Я не услышала лжи — это раз. Я не услышала правды — это два. Две пустоты. А ты сложил из них правду: что перед нами никого нет. — Она почти улыбнулась. — Двумя неправдами правду. Как ты боялся на площади.

— Как я боялся, — согласился Сергей. — Только теперь это не оружие против нас. Теперь это против него.

Голос заговорил снова, и в нем что-то сбилось. Не дрогнуло — машина не умела дрожать, — но запнулось, повторило слог, наложило фразу на фразу, как эхо в куполе, потерявшее счет.

— Сдайте... сдайте письма. Епископу нужен... нужен полный ряд... полный ряд...

— Ему нужен полный ряд, — сказал Сергей, — потому что у него нет последнего члена. А последний член ряда — это выбор. То, чего ни машина, ни ваш епископ уже не умеют. Вы дошли до края числа и встали. Дальше числа нет числа. Дальше — выбор. И вот его-то вы у нас и просите. Только мы его не отдадим. Потому что отдать его и значит перестать быть живыми.

Он взял Лючию за руку и повернулся к лестнице, где наверху, в проеме, мутно светился квадрат муранского зеркала.

— Идем, — сказал он. — Здесь нечего слушать. Он сам это сказал.

И они пошли вверх, оставляя за спиной полузатопленный зал, где одинокий голос, собранный из мертвых, все повторял и повторял, накладываясь на себя, оборванную просьбу.

Наверху их ждал молодой зеркальщик. Он был бледен.

— Я слышал, — пробормотал он извиняющимся тоном. — Все. Через воду, здесь все слышно через воду. — Он смотрел на Сергея уже прямо, не в сторону. — Я отпер ему дверь раньше, чем вам. Цепь велела. Я думал, он тоже хранитель. Голос был убедительный.

— Цепь не знает, кому отвечает. — Лючия повторила слова пизанца. — Она для того и создана, чтобы передавать дальше. В обе стороны. Вы не виноваты. Виновата сама природа цепи. Ее придется менять.

— Менять? — не понял зеркальщик.

Сергей посмотрел в старое муранское зеркало на стене, за которым пряталась лестница. Собственное лицо двоилось, троилось в неровном стекле, как голос в зале внизу.

— Цепь передает всем, кто спросит, — сказал он медленно, и мысль складывалась на ходу, член за членом. — Это ее слабость. Машина обогнала нас именно потому, что цепь честно отвечала и ей. Значит, нужна цепь, которая отвечает только живому. Шифр, который машина может прочесть, но не может выбрать. — Он отвернулся от зеркала. — Не знаю еще какой. Но теперь знаю, что искать. Не следующий член ряда. А то, что лежит за рядом. Выбор, который нельзя вычислить.

Они вышли из мастерской на свет. День над Мурано стоял яркий, печи гудели за спиной, и лагуна вокруг лежала плоско, отражая небо — два мира, верхний и нижний, и Сергей теперь смотрел на эту воду без прежней тревоги. Пусть отражает.

— Куда теперь? — спросила Лючия.

Сергей не ответил сразу. Он впервые за всю дорогу не знал маршрута. Цепь кончилась, Венеция была последним звеном. Впереди не было хранителя, который ждал бы их, отперев дверь. Впереди была только пустота, и в этой пустоте им предстояло проложить новую нить самим.

— Не знаю, — сказал он наконец. И, к собственному удивлению, сказал это без страха. — Цепь показала, чем плоха, она себя исчерпала. Дальше идти по ней нельзя. Нет, не так, — оборвал он себя. — Дальше надо идти не по цепи. — Он посмотрел на воду, на два неба. — Надо придумать, как передать то, что мы поняли, так, чтобы дошло только до живого. Иначе все это — Винчи, Рим, Пиза — он перехватит и обведет, как Каналетто обвел город.

Лючия кивнула. Она не сказала больше ничего. Только когда они шли к причалу, он увидел, что она держит ладонь у горла — там, где билась жилка. Не его жилку проверяла. Свою. Есть ли. Живая ли еще.

* * *

Далеко на юге, в комнате без окон, где свет был ровным и не имел источника, епископ Сальваторе делла Воче отложил донесение и долго сидел неподвижно.

Голос молчал на столе. Венеция была проиграна. Они ушли с письмами. Они нашли в его совершенном инструменте трещину, которой он сам в нем не видел.

— «Человек может не сказать», — повторил епископ вслух, медленно, пробуя слова на вкус. — «У него есть жилка, потому что есть выбор».

Он взял четки черного янтаря. Перебрал одну бусину. Вторую.

И вдруг остановился.

Где-то очень глубоко, в месте, которое он давно считал пустым и гордился этим, как гордятся шрамом на месте удаленного нарыва, что-то шевельнулось.

Не мысль и не расчет. Что-то без имени.

Он сидел неподвижно и ждал, пока это пройдет. Оно не проходило.

Делла Воче был человеком, который отучил себя от многого. От сна больше четырех часов. От еды с запахом. От разговоров, в которых не было цели. От людей, в которых не было пользы. Он провел много лет, вычищая из себя все лишнее — все, что мешало видеть ряд. Боль. Привязанность. Колебание. То, что простые люди называли совестью, он называл шумом и научился не слышать его так хорошо, что перестал замечать тишину на его месте.

Но сейчас тишина что-то сказала.

Он опустил четки на стол. Посмотрел на свои руки — сухие, привыкшие перелистывать страницы. Хороший инструмент.

«У него есть жилка, потому что есть выбор».

Ладонь дрогнула.

Он закрыл глаза.

Он вспомнил — против воли, что было само по себе странно, потому что он давно не вспоминал ничего против воли, — себя мальчиком в семинарии. Тринадцать лет, хор, утренняя служба. Голос еще не сломался, и он пел, и в пении было что-то, чего он тогда не умел назвать. Не красота, красота была снаружи, ее слышали другие. Что-то изнутри. Что-то, что выбирало: вот эту ноту взять чуть тише, вот здесь задержать дыхание на полтакта дольше, чем написано. Не по правилу. По — он не знал тогда этого слова и не знал его сейчас — по жилке.

Он убил ее намеренно. Не сразу — постепенно, год за годом, как убирают сорняки с аккуратного поля. Она мешала. Она вносила в расчеты личное. Она заставляла иногда останавливаться там, где надо было идти вперед. Он решил, что без нее он будет точнее. Чище. Сильнее.

Он оказался прав. Он стал точнее. Чище. Сильнее.

И вот теперь русский математик в полузатопленном зале в Венеции сказал ему, что именно это делает его машиной. И эта машина старела.

Делла Воче встал. Подошел к стене, туда, где между двумя книжными полками висело небольшое зеркало, которое он не снимал только потому, что оно было здесь до него, и посмотрел на свое лицо.

Лицо было спокойным. Выглаженным, несмотря на возраст.

И тут же фокус взгляда сместился. Делла Воче смотрел в зеркало и видел печать немощи и приближающейся смерти. Не спокойное лицо — посмертную маску. Не острый взгляд — провисшие мешки под глазами. Он по-старчески пожевал губами и замер в секундном ужасе, оттого что сделал это бесконтрольно.

Скоро. Скоро он все исправит. Делла Воче заставил себя отместить лишнее. Он смотрел в зеркало еще долго. Потом сказал — вслух, в тишину комнаты без окон:

— Ты убрал лодку.

Это не было вопросом. Это было то, что он понял: что тридцать лет назад, убирая из себя жилку, он сделал именно то, что приписал Каналетто. Убрал лишнее. Выбрал строй. Стал точным.

Но Каналетто был художником. А он убрал не лодку из картины. Он убрал художника.

Четки лежали на столе. Черный янтарь. Делла Воче взял их снова и на этот раз заметил, что рука чуть медлит на третьей бусине. Совсем чуть. Так мало, что не назовешь заминкой. Так мало, что он сам не знал — это рука помнит что-то или ему кажется.

Он положил четки.

Взял лист бумаги и написал слово, которое жило у него в голове с тех пор, как он прочел донесение. Написал и смотрел на него долго, как смотрят на слово, которое знали всю жизнь, но впервые увидели написанным.

Слово было: *жилка*.

Он сложил лист пополам. Убрал во внутренний карман — к сердцу, где когда-то, в тринадцать лет, было что-то теплое, связанное с пением. Встал.

Голос на столе молчал — собранный из мертвых, точный, безупречный. Делла Воче посмотрел на него без обычного удовлетворения мастера, смотрящего на инструмент. Посмотрел и впервые за много лет увидел не инструмент, а зеркало.

— Завтра, — сказал он тихо, неизвестно кому. — Сначала — завтра.

И вышел из комнаты без окон — туда, где был вечер, и запах воды, и где-то очень далеко на севере, в лагуне, отражалось небо.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.